

СЛЕПЦОВ В.А.



**ПИСЬМА ИЗ
ОСТАШКОВО**

Василий Алексеевич Слепцов

Письма из Осташково

Содержание

Образец городского устройства в России Письмо в редакцию "Современника"	0005
ПИСЬМО ПЕРВОЕ	0012
ПИСЬМО ВТОРОЕ	0050
ПИСЬМО ТРЕТЬЕ	0078
ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ	0098
ПИСЬМО ПЯТОЕ	0132
ПИСЬМО ШЕСТОЕ	0171
ПИСЬМО СЕДЬМОЕ	0195

**Василий Алексеевич
Слепцов**

Письма из Осташково

Образец городского устройства в России

Письмо в редакцию "Современника"

Ни об одном из уездных великорусских городов не было писано в последнее время столько, как об Осташкове. Всякий, кому случилось бывать в этом городе, считал непременною обязанностию печатно или изустно довести до всеобщего сведения о тех диковинах, которые ему пришлось в нем увидеть: о пожарной команде, библиотеке, театре и проч., то есть о таких предметах роскоши, о которых другие уездные города пока еще не смеют и подумать. Всякий, посетивший это русское Эльдorado¹, по мере сил и крайнего разума отдавал должную справедливость заботливости городских властей и хвалил жителей за примерное благонравие. затем благородный посетитель не упускал случая по-

ставить Осташковскую мостовую и пожарную команду в пику всем прочим уездным городам русского царства и намекнуть в конце, в виде нравоучения, что почему бы, дескать, и другим городам не взять примера с Осташкова и не завести у себя и то, и другое, и пятое, и десятое; желательно было бы ее и проч., как это обыкновенно говорится в подобных случаях. Такого рода похвалы и советы, без всякого сомнения, делали честь благородному посетителю, обличая в нем желание наставлять нерадивые города на путь истины, но вместе с тем они отчасти и повредили Осташкову во мнении прочих городов. Благородный посетитель как будто нарочно всегда старался изобразить Осташков каким-то благодетельным мальчиком, у которого и волосики гладко причесаны, и курточка не изорвана, и тетрабочки не закапаны салом, за что начальники его всегда хвалят и ставят в пример другим, нерадивым мальчикам, и за что товарищи его терпеть не могут. Но если бы благородный посетитель потрудился дать себе отчет в том, что он видел, и пожелал бы узнать причины - почему, например, один го-

род сидит себе по уши в грязи, и грамоте даже учиться не хочет (как Камышин), а другой — без театра и библиотеки немислим? Почему оставшковская мещанка, кончив дневную работу (большею частью тачание сапог), надевает кринолин² и идет к своей соседке, такой же сапожнице, и там ангажируется каким-нибудь галантным кузнецом на тур вальса, или идет в публичный сад слушать музыку; а какая-нибудь ржевская или бежецкая мещанка, выспавшись вплотную на своей полосатой перине и выпив три ковшы квасу, идет за ворота грызть орехи и ругаться с соседками? Почему вышневолоцкий сапожник сошьет сапоги из гнилого товара и еще на чаек за это попросит; а оставшковский сошьет хорошие сапоги и вместо чайку попросит почитать книжечку? Почему остав называет себя гражданином, а не митькой, прошкой и т. д.?

Если бы благородный посетитель задавал себе такие вопросы и добился бы на них положительных ответов, то, во-первых, он перестал бы хвалить оставшей за благонравие и, во-вторых, не стал бы укорять других за нерадение; потому что уже самое желание решить

эти вопросы избавило бы оставшей от похвал, от которых им ни тепло, ни холодно, а жителей нерадивых городов - от нареканий, которые им кажутся крайне оскорбительными и пользы, видимо, никому не приносят.

Осташков действительно один из замечательнейших русских городов, даже единственный в своем роде; но замечателен он во все не тем, на что обыкновенно туристы и хроникеры стараются обратить внимание публики. Осташков выходит из ряда обыкновенных уездных городов; но не тем, что в нем есть театр, мостовая и доморощенные музыканты-кузнецы, чем любит похвастаться Осташковский житель; не тем, потому что все это крайне плохо и не могло бы удовлетворить действительным потребностям города, - если бы таковые существовали и если бы все эти учреждения были вызваны именно потребностями развитого общества. Благосостояние Осташкова представляет чрезвычайно любопытное и поучительное явление в русской городской жизни. Осташков, с его загородными гуляньями, танцами и беседками, можно рассматривать, как одну из тех драго-

ценных картин-игрушек, на которую потрачено много труда и денег и на которой удивительно искусно изображены: рыбак с удочкой, крепость, мальчики, идущие в школу, и барышня в беседке, с цветком в руке. Все это чрезвычайно мило, и если завести ключом скрытый позади картины механизм, то рыбак начнет ловить рыбку, мальчики пойдут в школу, а барышня и крепость останутся на месте, и при этом можно будет слышать марш. Но как бы это ни было мило, тем не менее, картина все-таки останется игрушкой и будет только делать честь и - главное - удовольствие ее изобретателю; что же касается людей, изображенных на картине, то им, надо полагать, ничего больше и не остается делать, как ловить рыбу, ходить в школу и сидеть в беседке. И если бы вдруг рыбаку вздумалось посидеть в беседке, а мальчики сочли бы за лучшее заняться рыбной ловлей, то, вероятно, встретили бы непреодолимые препятствия, потому что такая перемена ролей не входила в план изобретателя, и самовольная отлучка с указанного места послужила бы признаком неисправности механизма.

Но с другой стороны, почему не предположить, что найдется еще искусник - и перехитрит первого, и сделает такую картину, на которой вместо рыбака будет сделан турок, курящий трубку и двигающий глазами, барышня же, хотя и будет, но не станет сидеть в беседке, а поедет на осле и за ней побежит собачка, мальчики же вместо того чтобы идти в школу, будут плясать. В этом случае все, как видно, зависит от искусства и фантазии изобретателя, и если перевернуть надлежащим образом известное изречение Пинести³, то можно будет довольно удачно выразиться о таких картинах или о таком городе, говоря следующим образом: здесь нет жизни; здесь только механизм, пружинка и колесики. Доказательства тому читатель найдет в письмах, которые за этим следуют.

Взгляд на Осташков, метафорически высказанный выше, сложился не вдруг, а выработался медленно, после многих и самых курьезных заблуждений, хотя у автора этих писем было в руках много средств доискаться истины и разрушать разного рода мистификации. Но все-таки хлопот и недоразумений

было много, потому что механики не любят открывать секретов, доставивших им известность, и принимают строжайшие меры против непрошеного любопытства; в чем читатель также будет иметь случай убедиться ниже.

Автор

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Наружность города

Третьего дня, поздно вечером, я приехал в Осташков и на другой же день пошел знакомиться с городом и его жителями. На первый раз мне хотелось сделать визиты разным должностным и другим лицам, пользующимся в городе особенным почетом; к некоторым же из них у меня были и письма. С вечера привезли меня на постоялый двор (гостиниц здесь нет), где дали мне чистую, действительно очень чистую комнату, с постелью без клопов и с отлично вымытым полом. Все было пошло хорошо. Встаю на другой день, посмотрел в окно: дождь идет, грязь непроходимая на улице; спрашиваю: "Есть ли у вас извозчики?" - "Нет извозчиков". - "Что ж я буду делать? А раки есть?" - "Есть". Надо заметить, что Осташков славится раками. Я заказал себе раков к обеду, а между тем от нечего делать разговорился с коридорным, или, не знаю,

как его назвать, одним словом, с хозяйским братом, который здесь в доме занимается счетной частью, чистит сапоги, ставит самовар и просит на водку. Хозяйский брат, - некто Нил Алексеевич, - с первого же знакомства поразил меня изумительной юркостию движений и необыкновенным сходством с бессрочноотпускным солдатом, хотя он просто-напросто здешний мещанин и даже в ратниках не бывал. Впоследствии, впрочем, сколько я ни замечал, осташковские мещане, или граждане, как они себя называют, все отчасти смахивают на отставных солдат: бороду бреют, носят усы, осанку имеют воинственную и, когда говорят, отвечают - точно рапортуют начальнику. Вообще дисциплина в нравах. Так вот, Нил Алексеевич, к крайнему сожалению моему, сообщил мне, что Федор Кондратьевич⁴, уехав-и в Петербург и неизвестно когда вернутся, но что лучше всего понаведаться к ихнему братцу и от него узнать о возвращении Федора Кондратьевича. Все же прочие, кого мне нужно было видеть, были в городе. Погода между тем начала поправляться, но все-таки на улицах было грязно, хотя я

и жил на главной, так называемой каменной улице. Сидя в грустном уединении у окна и глядя на камни, потонувшие в грязи, я имел возможность самым очевидным образом убедиться в справедливости пословицы: Славны бубны за горами, - до такой степени эти камни, обязанные изображать собой мостовую, дурно исполняли свою обязанность. После обеда, однако, небо совсем прояснилось, и я, несмотря на грязь, пошел бродить по городу. Осташков, как вам известно, стоит на берегу озера Селигера, или, лучше сказать, Осташков стоит на полуострове и с трех сторон окружен озером, а так как город выстроен совершенно правильно и разделен на кварталы прямолинейными улицами, то вода видна почти отовсюду, и притом озеро кажется как будто выше города, чему причиной служит изменчивость почвы. Город весь в воде, и даже с четвертой стороны у него огромное болото. Над озером стоит туман, и дальние берега чуть-чуть мелькают: с одной стороны виднеются какие-то деревни да несколько оципаных кустов; в другую сторону, к югу, лежат острова: Кличин, еще какой-то с обвалившейся-

ся красильней; житный монастырь тоже на острове. За этими островами темной полосой синее опять остров - Городомля с сосновым лесом, а за этим лесом уже не видно Ниловой пустыни. Население расположилось в разных частях города по промыслам и ремеслам; так что весь город можно разделить на три части. Если смотреть на Осташков с севера, то есть с материка, так, как он является каждому, въезжающему в город, то увидим, что правую и левую сторону его берегов заняли рыбаки; южная оконечность полуострова, вдавшаяся в озеро, застроена кожевенными заводами; в центре находится торговая площадь, присутственные места и кузницы; сапожники же разбросаны по всем остальным улицам и переулкам, идущим во все направления. Такая сортировка по занятиям вполне соответствует и потребностям каждого ремесла или промысла, взятого отдельно. Так, например, рыболовный промысел, по существу своему естественно связанный с озером и требующий простора, занял две трети всех берегов, но так как и этого оказалось недостаточно, то невода и сети повисли над водой, потому что

дома их вешать негде. Кожевенники же удовольствовались одной третью берега, доставшейся им от дележа с рыбаками, которые составляли первоначальное население города, - и так как воды им нужно гораздо меньше, только бы она была под руками, то они и построили себе разных амбарчиков и клееварен на самой воде, на сваях, и мочат кожи, почти не выходя из дому, только отворят двери и прямо в озеро. Для кузнецов отведено открытое место внутри города, что, впрочем, несколько не мешает им замазывать сажей и углем соседние улицы, отчего самая грязь на этих улицах имеет свойство чернить сапоги даже без помощи ваксы. Близость кожевенных заводов тоже легко узнается, во-первых, по кислому запаху и, во-вторых, по кучам старого и уже не годного корья, разбросанного по этим улицам. (По поводу корья я буду иметь случай рассказать впоследствии один очень любопытный анекдот об осташковском либерализме хотя, по-видимому, между корьем и либерализмом не может быть ничего общего.) Что же касается сапожников, то, я полагаю, всем известна невзыскательность

ремесленников, промышленяющих сапожным изделием; это особенно заметно в Осташкове, где сапожничеством занимаются почти в каждом доме, в особенности женщины, и где это ремесло дает только что насущный хлеб, следовательно об удобствах тут и разговора быть не может. Если есть 1- 2 аршина места для скамейки, так будут и сапоги, или осташи, как их называют.

Из первого поверхностного обзора города в этот день я извлек очень немного. Когда я вышел на торговую площадь, то прежде всего мне бросилось в глаза новенькое деревянное строение, выкрашенное желтой масляной краской: обжорный ряд. Подходя к нему, я слышал еще издали крик, и из любопытства заглянул туда. В проходе между лавками с разным съестным товаром торговли обступили двух проголодавшихся деревенских мужиков, в холстинных кафтанчиках и в низеньких пастушьих шляпках, которых я никогда прежде не видывал, и друг перед другом старались насовать им в руки пирогов с рыбою, кренделей и еще каких-то драчен⁵; мужики, оглушенные и заваленные пирогами и драче-

нами, долго жмурились, отмахивались от торговок и старались отделаться; но торговки не давали им выговорить слова и пирогов назад брать не хотели; тогда мужики, потеряв терпение, плюнули, бросили пироги и ушли, а торговки стали браниться. Из опасения, чтобы и меня не постигла та же участь, я поспешил скорее уйти и прямо из обжорного ряда попал на бульвар. Но об этом предмете мне хочется рассказать подробнее. Бульвар устроен действительно очень мило (он тянется от торговой площади по направлению дома городского головы - Савина) и содержится в большом порядке: березки все подстрижены и с подпорками, дорожки усыпаны песком; даже сбоку приделан небольшой пруд с крошечным островочком, и на островочке березка. На самой середине бульвара по одну и по другую сторону стоят по два столбика, выкрашенные белой краской; на столбиках очень искусно сделаны ершиб, по три ерша на каждом, всего: трижды четыре - две - научать ершей на бульваре; на самой же верхушке каждого столбика сделана деревянная же урна с красным пламенем, очень натурально. Резчи-

ки в Осташкове свои, так оно и неудивительно. Одно только меня несколько затруднило: при входе на бульвар в маленьких воротцах устроено что-то вроде капкана или лабиринта, таким образом, что прежде нежели попасть на бульвар, необходимо пройти между барьером направо, потом налево, потом назад, а потом уж можно выбраться и на бульвар; так что если человек с нетерпеливым характером случайно встретится в этих Фермопилах⁷ с другим нетерпеливым человеком и ни один не захочет уступить другому, то, по всей вероятности, должен произойти скандал; но бульварных капканов в Осташкове никто еще не ломал, и о таких случаях здесь не слышно, из чего прямо можно заключить, что нетерпеливых людей в городе нет, а если и есть, то они на бульвар не ходят, так же как и осташковские коровы, для которых, собственно, и назначены эти лабиринты.

Впрочем, занявшись бульваром, я забываю о других осташковских редкостях, а они здесь на каждом шагу. С бульвара или, лучше сказать, с площади, - потому что бульвар на площади, - по прямому направлению идет улица

на строящуюся пристань; тут же в базарные дни производится торговля на лодках деревянной посудой, корзинами и овощами, привозимыми крестьянами прибрежных деревень. Пристань с маленьким молотом строится из булыжника и известняка, которым изобилует осташковский уезд, но строится, как видно, очень медленно по недостатку средств или не знаю почему. Кроме этой пристани, в городе есть еще несколько малых пристаней с деревянными плотами для причала. Так как погода поправилась, то на озере и у берегов показались лодки, в которых большею частью женщины исполняли должность гребцов. Недалеко от главной площади, на берегу, видел я театр - большое, но неуклюжее здание, переделанное из кожевенного завода. А там, по южному берегу, пошли уже вплоть все заводы, совсем вылезшие в озеро. В одном месте даже капуста посажена на плавучем огороде. Сюда, ближе к центру, показался собор с безобразнейшей колокольней в виде столба; рядом с собором - так называемый "публичный сад". Я было сунулся ко входу, - опять капкан! И опять ерши! В саду оказалось

дерев больше, нежели на бульваре, есть и скамейки, павильон, в котором играет иногда доморощенная музыка, и еще какие-то особенного устройства длинные скамейки для простого народа, на которых можно очень весело проводить время, покачиваясь, как на рессорах. Тут же, в саду, я встретил одиноко гуляющую козу, которая, вероятно, не затруднилась входом и просто-напросто перескочила через перегородку, из чего я вывел уже положительное заключение, что козы не входили в расчет при устройстве лабиринтов, которые исключительно предназначены для коров. Выбравшись без особенных приключений из публичного сада, я пошел по главной улице, в этом месте почему-то высыпанной песком, и вдруг завидел большое каменное здание, красного цвета, с палисадником; на главном фасаде две вывески: на одной, побольше и повыше, написано золотыми буквами: Дом благотворительных заведений общественного банка Савина, а на другой, поменьше и пониже: Училище для девиц (Основанное Ворониным, - как я узнал впоследствии). Я обошел здание с двух сторон и заглянул на двор: и

там все очень удобно устроено, чистота изумительная, двор вымощен; для дров даже сделано особое помещение. У самых ворот стоит ящик вроде бюро; я любопытствовал взглянуть внутрь его и нашел там солому. Какая-то девочка, выходявшая в это время из дома благотворительных заведений, объяснила мне, что ящик этот выставляется на ночь за ворота для подкидышей, для этой же цели и колокольчик проведен от ворот в странноприимное отделение.

- Ребеночка в ящик положат и дернут за колокольчик; оттуда сейчас выйдут и возьмут ребеночка, - объяснила мне чрезвычайно бойко девочка, причем я мог заметить, что она в кринолине и в руках у ней книга. Девочка опрятная, с воротничком и в белом фартуке, но что-то бледна уж очень. Впрочем, сколько я ни встречал сегодня женщин, - все ужасно худы и бледны.

- Вы, душенька, из училища? - спрашивал я девочку.

- Из училища.

- Можно туда войти, посмотреть?

- Можно.

- А где найти зрителя?
- Он теперь в классе.
- И долго там пробудет?
- Часа полтора просидит.

Я простился с девочкой и пошел дальше, предполагая зайти в училище часа через полтора. Мне хотелось воспользоваться хорошей погодой и обойти по крайней мере правую сторону полуострова. Но какое же здесь множество часовен! Считал, считал и счет потерял. Иду к оконечности города, вдавшейся в озеро, и бессознательно читаю билеты на воротах: Савина, и по другую сторону Савина, опять Савина и еще Савина, и таким образом вплоть до самой дамбы, ведущей из города на Житный остров. Подхожу к воротам, - опять капкан! Что ж это значит? Неужели же и в монастырь коров не пускают? Повертелся, повертелся я тут у входа, однако прошел и очутился опять на бульваре, а бульвар этот в сущности дамба-то и есть; отличная насыпь, укрепленная с обеих сторон сваями и диким камнем; на половине насыпи сделан пролив, через который ведет красивый деревянный мост. Взошел я на мост - опять ерши на стол-

бах! А какой вид с моста на город, особенно теперь, когда солнце ударяет прямо в эти заливчики, застроенные разным заводским строением и наполненные лодками. Рыбак, стоя в лодке, развешивает на кольях сети, прибрежные крестьяне разъезжаются с базара; две бабы везут мужика и работают веслами совсем не по-бабьи: видно, что они выросли на воде; но зато мужик, возвращающийся с базара под хмельком, знать ничего не хочет; лег себе на какие-то мешки, которыми нагружена лодка, - и ругается на чем свет стоит. Однако бабы в обиду не даются и очень ловко плещут на него веслом и всего обдают водою, отчего мужик начинает еще хуже ругаться, а бабы хохочут. На берегу между тем кто-то вышел из двери, ведущей с завода прямо в озеро, опустил в воду крюк и вытащил оттуда мочившуюся шкуру. Левее виден гористый и пустынный Кличин, недалеко от него торчит из воды огромный камень, похожий на лодку; за камнем мелькает парус, чайки вьются над озером. Однако нужно еще поспеть в монастырь. Подхожу к Житному острову, - при входе опять ерши! Да когда же это

кончится? Впрочем, на столбах, кроме ершей, надписи. На правом написано:

"Покорнейше просят цветов и деревьев не ломать и собак не водить".

"Кто нарушает правила, установленные для общего блага, тот есть общий враг всех".

А на левой стороне:

"Кто умеет уважать себя, тот умеет дорожить благоустройством общественным".

Часть острова, ближайшую к городу, занимает монастырь с огородом и памятником потомственного почетного гражданина и коммерции советника Кондратия Алексеевича Савина, отца нынешнего градского главы. В монастыре только и есть замечательного, что этот памятник, устроенный в виде часовни; перед иконой, как видно, прежде горел газ, проведенный с фабрики братьев Савиных; но газовый рожок в настоящее время, кажется, испорчен. Другую половину острова занимает сад, разбитый необыкновенно затейливо, с павильонами и мостиками в виде колеса, до такой степени красивыми и крутыми, что по ним даже и ходить нельзя, с прудами величиною с порядочную лоханку, башен-

ками и проч. Есть даже домик для пустынноика, оклеенный берестой, в котором живет сторож, или даже, кажется, никто не живет, хотя домик и заперт на замок. Я зашел в одну беседку, стоящую на самом мысу, а из нее по лесенке взобрался в павильон, - и опять вид на город и окрестные острова, и еще лучше, нежели с моста. Белые стены павильона все исписаны разными стихотворениями и акростихами⁸, в которых туземное остроумие, сколько я мог заметить, все больше проходит на счет одного известного лица. Монастырская братия, заботясь, как видно, о чистоте нравов и павильона, изглаживала по мере сил и возможности хулы и предерзостные писания; но чья-то неукротимая рука и тут-таки не унялась и начертала перочинным ножом неизгладимые сквернословия.

- Кто так искусно устроил все это? - спросил я гулявшего по саду монаха.

- Это все Федор Кондратьевич занимаются, дай бог им здоровья, - отвечал монах. - Здесь у нас прежде рощица была, самая жалкая рощица; признаться, не так чтобы горазно было. По праздникам чернять⁹ гулять к нам хо-

дила, да больше всё пьяные, - безобразно. Ну, а Федор Кондратьич нам садик развели, будочек понастроили, деревца насадили, кусточки: ишь ты как горазже пригляднее стало, как можно. Гулять теперь к нам все больше господа ходят, особливо летом.

- А могу я у вас попросить карандаш или перо и кусочек бумаги?

Монах заметался и похлопал себя по карману.

- Как быть? Перушка-то у нас и не сыщешь, и чернилицы тоже нету. Ах, головушка горькая! Нету! Нету! Вот у просвирника должна быть чернилица-то, за здравие пишет, да не, должно в церкви она у него заперши. Пообождите малость, вот я схожу поспрошаю. А вам это на что? Письмо, что ли, писать?

- Нет, мне бы вот хотелось эти надписи, что на столбах-то у вас, списать.

- Ну так, так. Вот я схожу, может и сыщу.

Пока монах ходил за чернилицей, я опять загляделся на озеро и заслушался шума набегających волн. Монастырский сад лучшее место в Осташкове, да и не в одном Осташкове: не хочется уйти. Наконец несет монах черни-

лицу с объедком пера.

- В силу отыскал, - говорил он, подавая мне ее. - Один у нас есть такой, тоже этим делом занимается, у него выпросил. Не хотел было давать: зачем, говорит, тебе? Прольешь. Пишите, пишите, - это хорошо тут написано.

- А кто это написал? Ваш настоятель?

- Нет! Это все Федор Кондратьич. Вы, должно, нездешние?

- Я из Москвы.

- Из Москве: так, так.

- Прощайте. Извините, что беспокоил.

- Ничего! Час добрый.

На возвратном пути в город встретил я на дамбе гражданина и офицера. Гражданин, почтенной наружности, чисто выбритый, сейчас же обратил внимание на приезжего человека, оглядел меня с головы до ног и с достоинством поклонился; офицер же запел что-то и, легкомысленно помахивая тросточкой, пошел далее. А в училище так и не удалось побывать мне в этот день.

На первый раз я ограничился прогулкой по городу; да и хорошо так устроилось, что я ни у кого не был сегодня, по крайней мере

внимание не разбрасывалось; впечатление, произведенное на меня внешней стороной города, свежо, ясно и не развлекалось сближением с людьми. В сумерки я прошелся по восточному берегу, потом обогнул город с северной стороны вплоть до самого кладбища, следовательно, я видел почти весь город; не осмотренной осталась одна только Америка (северо-западная часть полуострова), которая, по свидетельству Нила Алексеевича, только тем и замечательна, что там окружной живет.

Попробую я теперь дать себе отчет в том, что я видел сегодня. А знаете, что меня всего более поразило в наружности города? Как вы думаете? - бедность. Но вы не знаете, какая это бедность. Это во все не та грязная, нищенская, свинская бедность, которой большею частью отличаются наши уездные города, - бедность, наводящая на вас тоску и уныние и отзывающаяся черным хлебом и тараканами; эта бедность какая-то особенная, подрумяненная бедность, похожая на нищего в новом жилете и напоминающая вам отлично вычищенный сапог с дырой. На первый взгляд вас

приятно поразит и мостовая, и бульвар, и эти громкие вывески: общественный банк, общественная библиотека, публичные сады, благотворительные заведения и т. д.; даже и на этих ершей, на это обилие ершей, на все эти декорации вы смотрите снисходительно, добродушно улыбаясь, потому что все это пахнет чем-то таким новым, свежим, благоустроенным. Стриженные березки, капканы, решетки, просьбы цветов не рвать, собак не водить, - все это вам давно знакомо; вам даже почему-то приятно встретить в захолустье, в Осташкове, этих старых чудаков, как иногда приятно бывает встретить какую-нибудь глупую няньку, которая вас бивала в детстве. Но все эти приятные ощущения быстро сменяются тяжелым раздумьем, как только вы свернете в одну из второстепенных улиц. Вы вдруг замечаете ужасно резкий переход, как будто вам подавали все трюфели¹⁰ да фазанов, а тут вдруг хрен!.. У вас и глаза было разлакомились, вам уж начало было казаться, что и дальше все то же будет, а тут и пошли, и пошли: и хижины бедные, богом хранимые, и больные ребятишки, и окна, заклеенные бу-

магой, и бледные, изнуренные лица с неизлечимой анемией¹¹, - одним словом, все это горе-злосчастье, с холодом, да с голодом, да с лихими напастями, от которых вы было вообразили так дешево отделаться. "Что же это значит?" - тоскливо думается вам.

Город расположен чрезвычайно искусно, и надо быть очень непроницательным, чтобы не обратить на это внимания. Если вы захотите всмотреться пристальнее, то вы непременно заметите, что тут прошла чья-то искусная рука, что кто-то так ловко скомпоновал все эти *objects d'art*¹², что они неминуемо вам должны броситься в глаза. Вы непременно заметите, что для каждой вещи выбрано именно такое место, на котором она больше выигрывает и привлекает на себя ваше внимание. А что делается в отдаленных улицах, того вы не увидите, потому что туда вам и идти незачем, да и мостовых там нет, там болото. И если вы можете понять и достойно оценить все это, то вы отдадите должную справедливость художнику, потратившему много труда и соображения на то, чтобы произвести на вас самое отрадное впечатление во время вашего

кратковременного пребывания в Осташкове. Но я предполагаю, что вы приехали в город безо всякой особенной цели и не имеете ни малейшего желания видеть сквозь видимый смех невидимые миру слезы¹³, - вы приехали так себе, ни за чем, либо угоднику поклониться. Само собой разумеется, что вы едете на постоянный двор или остановитесь у кого-нибудь из ваших благородных знакомых, живущих непременно в центре города; следовательно, вы неминуемо должны ехать по главной улице. Уже при самом въезде в город вас приятно поражает на правой стороне какое-то высокое, красивое здание, вовсе не похожее на острог, который в свою очередь видится вам в приятном отдалении.

- Что это за дом? - спрашиваете вы у ямщика.

- А это казармы.

- Как казармы? Так, стало быть, казенный дом? - пристааете вы к ямщику.

- Никак нет, - отвечает он вам.

- Так чей же это дом? - продолжаете вы допрашивать.

- Общественный! как, значит, прежде сол-

даты очень уж одолевали, так Федор Кондратьич¹⁴, их и вывели за город, да казармы им и выстроили, чтобы уж они свое место знали.

"Вот как! Это хорошо! - думаете вы и едете дальше, а тут уже между тем началась мостовая. Хотя вам и сильно поколачивает бока, но так как, во всяком случае, как бы то ни было, ведь это все же таки мостовая, а не киселевидная грязь, которую вы проклинали во всю дорогу от самого Волочка, то уже один вид мостовой должен произвести на вас отрадное впечатление; и действительно производит, и вы говорите, одобрительно улыбаясь: "Ого! Посмотрим, что дальше будет". Вы едете дальше и, поравнявшись с переулком, случайно бросаете взгляд направо и не без сердечного удовольствия примечаете, что и в соседней улице тоже мостовая: вы смотрите налево и видите, что налево травка; но вы уже так довольны, найдя в Осташкове две вымощенные улицы, что великодушно прощаете этой травке и думаете: "Ну бог с ней! Пусть ее растет; невозможно же вымостить целый город. Ведь на это сколько денег нужно? Страсть". А между тем вы не оставили без внимания и по-

стройку. Дома, мимо которых вы едете, все такие крепкие, хорошие дома, в нижнем этаже лавочки; на воротах пожарные значки: ведро, крюк, лестница, даже лошадка в одном месте нарисована. Лошадка очень недурно сделана, точно картинка.

- Как славно, однако, здесь рисуют пожарные значки! - замечаете вы про себя. А тут постоянные дворы.

- К кому въезжать на двор? К Коновалову, что ли?

Но так как у вас нет в городе никакого спешного дела, а в комнате одному сидеть скучно, к тому же все виденное вами так успело уже расположить вас в пользу Осташкова, то вам вдруг приходит в голову фантазия сейчас же, не откладывая, проехаться по городу и проглотить его разом.

- Нет, брат, ты вот что: ты проезжай-ка лучше так по городу, знаешь? Я тебе дам на чай. А потом уж и на постоянный двор.

- Куда же ехать-то? - спрашивает вас ящик, не понимая, чего вы хотите, и предполагая, что вас укачало дорогой, а потому и нашла на вас блажь.

- Да вы здешний, что ли?

- Здешний.

- Ну так проезжай немного по городу: мне хочется посмотреть улицы.

- Да, да, да. Так бы вы и говорили. То есть вам это, собственно, как вы приезжий, - значит, вам очень лестно посмотреть.

- Ну да, ну да!

- Это что ж? Это ничего.

И, обрадованный возможностью похвастаться родным городом, ямщик вывозит вас на площадь.

- Вон оно, озеро-то! - говорит он, самодовольно указывая кнутом на озеро, показавшееся вправо.

Площадь, впрочем, на первый взгляд ничем особенно вас не поражает, но, оглядывая ее пристальнее вы вдруг замечаете бульвар, прудок с островком, гуляющих дам в модных костюмах, красивый обжорный ряд, лавки. Вы видите, что в лавке сидит женщина и вяжет что-то.

"Ого-го!" - думаете вы. Ямщик между тем берет влево и везет вас вокруг всей площади.

- Что это за сарай с колокольчиком?

- Это пожарная команда.

Да! Это та самая знаменитая пожарная команда, о которой я так много читал в "Московских ведомостях"¹⁵, - думаете вы и в то же время с удивлением и не без удовольствия читаете вывеску: Осташковская общественная библиотека основана 1832 года.

- Каково? - говорите вы уже вслух, - тридцать второго года и притом общественная!.. А в других-то городах!.. - но тут вы вдруг начинаете столбенеть.

- Что это? Телеграф? - вскрикиваете вы. - Ямщик! глаза мои меня не обманывают? Это точно телеграф?

- Верно, - успокаивает вас ямщик, совершенно довольный вашим восторгом.

- Кто же его устроил?

- Федор Кондратьевич.

- А куда проведен этот телеграф?

- Из Думы к Федору Кондратьевичу. Ну, куда же теперь ехать?

- Вези, куда знаешь, - говорите вы растроганным голосом.

Объехав всю площадь и выказав вам один за другим все красивые каменные домики,

которыми обстроена площадь, ямщик везет вас в прежнем направлении, то есть по главной же улице, пересекающей площадь. Но уезжая с площади, он указывает опять-таки кнутом на озеро и обращает ваше и без того напряженное внимание на строящуюся пристань. Вы высунулись из экипажа и видите движение, народ: возят песок, сваливают камень, в пристани стоят две огромные лодки, похожие на суда, развеваются паруса, вы слышите где-то свист парохода; озеро, синее и блестящее, точно взморье, так и манит вас к себе, а на том берегу виднеются деревни, лес синеет вдали.

- Экое место! Что за природа! - восклицаете вы. - Воздух-то, воздух какой!

А между тем в то время, как вы смотрели на озеро и наслаждались природой, слух ваш поражается звуками отдаленной музыки.

- Что это? Ученье? - спрашиваете глубоко-мысленно вы, сообразив, что если уж и есть музыка в Осташкове, то не иначе, как военная.

- Нет; ученья у нас никакого нет, - снисходительно замечает вам ямщик, - а музыка у

нас своя играет в саду.

- Как в саду? Что ты говоришь?

- Я врать не стану, сами посмотрите.

Но чем ближе подвигаетесь вы к музыке, тем удивление ваше возрастает все более и более. Немного не доезжая сада, вы снова видите здание совершенно такое же, как и казармы; на здании красуется огромная вывеска: Дом благотворительных заведений общественного банка Савина.

- Что здесь, в этом доме?

- Воспитательный дом, богадельня для престарелых и увечных, уездное училище, женское училище, воскресные классы.

- Недурно!..

А музыка слышится все громче и громче. Вы уже ясно слышите, что это не какой-нибудь паршивый квартетишко из отставных дворовых музыкантов, вы уже можете догадаться, что это целый оркестр; вы видите толпы гуляющих дам и кавалеров, шум, говор, изящные наряды; вот стоит карета, вот еще несколько экипажей, а тут народ. Сколько народу! Да это просто Тверской бульвар.

- Нет, это выше сил моих! Я этого не выне-

су! - говорите вы, окончательно подавленный таким неожиданным сюрпризом.

- Да откуда же у вас музыканты? - спрашиваете вы наконец у ямщика.

- У нас свои музыканты; граждане играют на музыке.

- Как граждане? Какие граждане? Где граждане?

- Так точно. Осташи, граждане.

- И ты гражданин? - вдруг почему-то струсив, спрашиваете вы ямщика.

- Справедливо. И я гражданин.

- Несчастный! Что ты сказал?.. Да где ты живешь?!. - говорите вы шепотом.

- У хозяина живу, у Иван Прохоровича.

- Замолчи, глупый человек!

- Да что ж вы в самом деле? У нас в городе все грамоте знают. Вот ведь вы опять не поверите?

- И ты знаешь?

- Знаю.

- И читаешь книги?

- Читаю.

- Врешь?..

- Ей-богу, читаю. Да что вы, не верите? Вот

я вам сейчас покажу человека. Вон наш ямщик стоит у решетки: хотите, я его при вас спрошу?

Вы крайне заинтересовываетесь.

- Парфен! Подь сюда! Вон барина я привез, не верит, что у нас все грамоте знают. Слышь, хвастаете, говорит. Скажи ему, какую я книжку читал.

- Это точно, ваше благородие, что он "Трех мушкетеров" прочитал. Будьте без сумления. Мы тоже для праздника хвастать не станем, - подтверждает другой ямщик.

- Да нет, слышь, Парфен, и про музыку не верит, что граждане играют. Вот он у меня чудной какой! - и ямщик смеется.

- И насчет музыки это верно он вам докладывает.

В это время вдруг грянул хор; человек 50 великолепнейших голосов начали разом какой-то торжественный гимн.

Славься, славься, наш Осташков!..16 долетает до вас, и вы слышите, как несколько страшных басов забирают верха.

- А вот певчие, - ведь это кузнецы поют, - доколачивает вас ямщик.

Вы уничтожены, вы неподвижно лежите в тарантасе, ничего не видите, не слышите и только в изнеможении, покачивая головой, говорите:

- Боже! Боже мой! И кто бы мог поверить? Осташков, уездный город. Ямщики романы Дюма читают, кузнецы гимны поют. Благотворительные заведения. Банк. Воспитательный дом!.. И Европа этого не знает!..

- Ступай, ступай, брат, скорее! Что ж ты стоишь? Вези меня к Коновалову, что ли, куда знаешь.

Но ямщик, смекнув в чем дело, не дает вам опомниться и хочет угостить вас уж за один раз всеми редкостями, которыми справедливо гордится Осташков. Ямщик везет вас все же таки по главной улице и, повернув налево, мимо каменных домов, кожевенных заводов, часовен и Никольского подворья, потом, захватив немного берегу, останавливается у входа на дамбу. Побывав на Житном, испытав высокое эстетическое наслаждение от созерцания природы, изумленные делами рук человеческих и подкрепив дух чтением поучительных надписей, - вы чувствуете непреодо-

лимое желание увидеть по крайней мере то место, где обитает этот великий маг и волшебник, велением которого творятся такие чудеса.

- Ямщик! - восклицаете вы решительным голосом, садясь опять в экипаж. - Ямщик! Вези меня к Федору Кондратьевичу!..

- Как? - переспрашивает ямщик, думая, что он обслушался. - к Федору Кондратьевичу?!

- Ну да, Да! К Федору Кондратьевичу, к вашему градскому голове; разве ты не знаешь?

- Как не знать! - сомнительно отвечает ямщик и насмешливо косится на вас через плечо, как будто думает про себя: "Чудно что-то это он говорит, братцы мои! ей-богу. Уж не закачало ли и вправду, а может, не поднесли ли ему там, на Житном, святые отцы?" Но, встретив ваш отважный и решительный взгляд и вдруг сообразив что-то, ямщик пугливо схватывает вожжи, отвечает вам: "Слушаю, ваше сиятельство! - и скачет во весь дух по бульварной улице, да поскорей, да поскорей, а сам потряхивает головой, как будто говоря: "А черт его знает, кто он такой! Может и точно Федора Кондратьевича знает; пожалуй, еще в

шею наладет гражданин".

Перед вами быстро замелькали: аптека, стриженные березки, ерши и капканы; бульвар кончился; экипаж несется мимо банка; влево показались: фабрика, кожевенный завод, литейный завод, газовый завод; телеграфная проволока пересекла улицу и пошла куда-то влево.

- Чьи это заводы и фабрики? Куда это проведен телеграф?

- Федора Кондратьевича, все Федора Кондратьевича, ваше сиятельство, а телеграф к ихней сестрице в вотчину проведен.

По обе стороны улицы вместо тротуара пошли липовые аллеи; толпа разной челяди и четыре огромных водолаза сидят у ворот какого-то барского дома; тут же вы увидели газовые фонари, сараи для склада товаров, множество сараев, и вот наконец перед вами дворец, обращенный главным фасадом к озеру.

- К парадному подъезду прикажете, ваше сиятельство? - почтительно спрашивает вас ямщик; и тут только вы начинаете замечать всю глубину уважения, которой мгновенно проникся он к вашей особе.

- Нет, нет, - торопливо останавливаете вы его, - не нужно. Я только так хотел посмотреть.

- А чтоб вас совсем! Право! - так же быстро изменяя тон, начинает ворчать ваш ямщик.

- Тоже к Федору Кондратьичу; ну, куда тебе?! - бормочет он, поворачивая лошадей, но бормочет так, чтобы вы могли расслышать, - ишь ведь что вздумал? А тут сейчас и назад.

- Что ты говоришь? - спрашиваете вы, не вслушавшись в ворчанье.

- Ничего. Сиди знай! На постоянный двор, что ли? Так-то лучше. А то на-ко что: к Федору Кондратьичу - и вы ясно уже слышите, как ямщик вас передразнивает.

Но даже и это последнее обстоятельство несколько вас не оскорбляет и ни на волос не охлаждает в вас этого горячего чувства расположения к Осташкову, которым вы успели проникнуться. Вас даже радует отчасти это грубое неуважение к вашей личности, выраженное сейчас ямщиком. В нем, в этом неуважении, вам видится та неизмеримая высота, то обожествление, так сказать, возведение в идеал, почти что в миф, таинственной лично-

сти человека, выше которого бедный сын Селигера ничего не может себе и представить; человека, имя и деяния которого составляют справедливую гордость Осташкова. Вы даже чувствуете сильный позыв за только что нанесенное вам оскорбление, за эту грубость - дать ямщику на чай и довольный, веселый едете на постоялый двор. До вас все еще долетают звуки музыки, вы ясно можете услышать:

Славься, славься, наш Осташков!..

- Веселись, ликуй, Европа!.. - вдруг раздаётся насмешливое восклицание туземного Мефистофеля, возвращающегося с гулянья.

Но и это не поражает вас и не забавляет нисколько; вы даже и не заметили ядовитой насмешки, скрытой в последней фразе; вам даже кажется, что второй стих вовсе и не пародия, что так именно и нужно петь и что Европа действительно должна веселиться и ликовать, и даже сами в сладком самозабвении припеваеете: "Веселись, ликуй, Европа!.."

Поезжайте, добрый человек, к Коновалову; там отведут вам чистую, очень чистую комнату, за 40 копеек в сутки; дадут вам уши из

налимов, и ночью клопы кусать вас не будут. И там же Нил Алексеевич расскажет вам, что он умеет танцевать кадрили и что у них в городе все свое: и пожарная команда, и певчие, и кузнецы, и рыбаки, и сапожники, и резчики, и золотильщики, и что даже фотография есть своя, что по зимам бывает клуб, танцевальные вечера, музыкальные вечера, а на театре "Горе от ума" и "Разбойников" представляют; а завтра утром съездите вы поклониться угоднику, а потом уезжайте скорей из Осташкова. Когда вы вернетесь домой - вы всем расскажете, что вы видели, а может быть даже и статейку об этом напишете, в которой как очевидец самым убедительнейшим образом будете доказывать, что в Осташкове все есть, решительно все, что нужно порядочному городу; даже больше, нежели сколько нужно; что Осташков передовой город и по развитости жителей, и по богатству, и по красоте местоположения; одним словом, во всех отношениях, и что другим городам должно быть очень стыдно. Города сдуру возьмут да и покраснеют, а мы вам так сейчас и поверим.

Примечания

Письма об Осташкове

Впервые опубликовано в журнале "Современник", 1862, N5 и 1863, NN1-2;4;6.

1. Эльдorado (исп. "el dorado" - золотой, золоченый) - мифическая страна, богатая золотом, драгоценностями, которую испанские завоеватели искали на территории Латинской Америки. Здесь - иронически страна богатств, сказочных чудес.

2 Кринолин - широкая юбка с вшитыми в нее обручами из стальных полос или китового уса, модная в середине XIX в.

3 Пинести Джузеппе - известный итальянский фокусник конца XVIII века, выступавший с "мыслящими" автоматами.

4 Савин, Осташковский городской голова. (Примеч. В.А. Слепцова.)

5 Драчены - кушанье из запеченной смеси яиц, молока и муки или же тертого сырого картофеля.

6 "Очень искусно сделаны ерши" - эти ер-

ши заимствованы из герба г. Осташкова, в нижней части которого на голубом фоне изображены три серебряных ерша, символизовавшие рыбный промысел.

7 Фермопилы (или Термопилы) - узкий горный проход, соединяющий северный и центральный районы Греции. Во время греко-персидской войны (480 до н. э.) там произошло сражение спартанцев с персами, во время которого все спартанцы погибли.

8 Акrostих (греч.) - стихотворение, в котором начальные буквы стихов (строк) образуют слово или фразу (часто имя автора или адресата).

9 Чернять - чернь, народ.

10 Трюфели - земляные деликатесные грибы.

11 Анемия- малокровие.

12 Произведения искусства (фр.).

13 "Видеть сквозь видимый смех невидимые миру слезы". - Цитата из поэмы Н.В. Гоголя "Мертвые души" (7-я глава).

14 Предполагается, что вы уже знаете, кто такой Федор Кондратьич. (Примеч. В.А. Слепцова.)

15 "Московские ведомости" - одна из старейших газет Москвы, выходявшая в период с 1756 по 1917 г. С 1863 года (под редакцией М.Н. Каткова - см. ниже) носила ярко выраженный реакционный характер, вела ожесточенную борьбу против революционно-демократического лагеря.

16 "Славься, славься, наш Осташков!.." - начальные слова торжественного гимна, написанного писателем И.И. Лажечниковым (1792-1869) в честь Осташкова.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Визиты

Сегодняшний день я посвятил визитам к разным, более или менее важным лицам в городе, к которым были у меня рекомендательные письма. Одни из этих лиц должны были принести мне пользу своим знанием города, другие могли указать пути, познакомиться с кем нужно или растолковать, чего я не пойму. Вообще все с вечера было хорошо обдумано, на письма я возлагал надежды не малые, и весь следующий день был у меня рассчитан; но при первой же встрече с действительностью, как это часто случается, теория спасовала.

Накануне, с вечера, я отдал Нилу Алексеевичу два письма: первое - к некоторому должностному лицу, а другое - к одному почтенному ремесленнику, с тем, чтобы эти письма он снес на другой день, утром, и кстати бы узнал, когда и кого можно застать дома.

Нил Алексеевич отнес их чуть свет, а утром, только что я успел открыть глаза, слышу - уж кто-то меня спрашивает, вбегают ко мне Нил Алексеевич и точно фельдфебель¹ докладывает: "Господин Ф[окин]. Прикажете принять?" Входит очень чистенький старичок с ясным взором, в длинном сюртуке, с воротничками Ю l'enfant, и рекомендуется: Ф[окин], то есть тот самый ремесленник, которому было послано письмо. Я было немножко сконфузился, стал извиняться, но Ф[окин] оказался до такой степени любезным, симпатичным и готовым сделать с своей стороны все, что можно, для облегчения мне знакомства с городом, что я успокоился. Напились мы чаю и сейчас же отправились. День был праздничный, а потому мы пошли прежде всего к обедне в^{***} церковь. Погода с вечера еще разгулялась, озеро покойно, народу на улицах и на воде множество. Мужчины-граждане всё бритые с усами, высокие, больше черноволосые, в синих чуйках², другие и в пальто; женщины в ярких шелковых платках и в шубейках или в кринолинах, бурнусах³ и шляпках. Кое-где офицер пройдет,

неестественно вывертывая плечи; проедет купец, в ваточном картузе с большим козырьком, в старинной, неуклюжей пролетке и медленно, не поворачивая головы, кланяется знакомым. На базаре висят желтые, не вычерненные осташи (крестьянские сапоги) с острыми носами, продаются корзины для сушеной рыбы, деревянная посуда и капуста; народ галдит, бабы, сидя на земле, торгуют брусникой и баранками.

Когда мы пришли в церковь, обедня уже началась. Народу было много; но публика рассортирована: почище впереди, посерее сзади, мужчины направо, женщины налево; певчие на обоих клиросах⁴, и голоса очень сильные, особенно баса, о чем свидетельствуют отчасти и здоровенные шеи кузнецов с подбритыми затылками, стоящих на клиросе. Впрочем, пение бестолковое: всё по нотам, всё по нотам, фортиссимо⁵, беспрестанно, анданте⁶; и аллегро⁷: почти различить невозможно, мелодии никакой. Церковь старинная, стены сверху донизу покрыты резьбой, но все это очень грубо, аляповато и без всякого вкуса. Иконостас в одном стиле, а стенная

резьба в другом; огромное закопченное паникадило⁸; над дверьми и между окнами множество херувимов с раскрашенными лицами; кисти разные, шнуры по стенам вперемешку с арабесками⁹ домашней работы. Вообще заметно желание наклепать как можно больше всяких украшений, не разбирая - идет оно к другому или нет. Живопись тоже плохая.

Пока мы пробирались вперед, Ф[окин] успел уже кой-кому шепнуть что-то обо мне, так что когда мы стали позади правого клироса и я оглянулся, то встретил уже несколько любопытных взглядов и даже два-три поклона. Стою, вдруг сзади кто-то спрашивает:

- Вы надолго изволили приехать в наш город?

Я оглянулся.

- Не знаю, - как придется.

- Честь имею рекомендоваться, такой-то.

- Очень приятно.

Спустя несколько минут опять:

- А ведь в нашем городе, я вам скажу, любопытного мало.

- Неужели?

- Ей-богу. Невежество это, знаете, грубость

какая-то.

- Мм!

- За охотой ходить здесь хорошо. Вы не охотитесь с ружьем?

- Нет.

- А вот у нас С.К. Все стреляет, - охотник смертный.

Я посмотрел на С.К., а мой сосед фыркнул себе в горсть. С.К. заметил, что смеются, в недоумении обвел вокруг себя глазами и начал усердно молиться. Сосед мой, однако, не успокоился; немного погодя нагнулся мне к самому уху и спрашивает:

- Вы любите стихи?

Я ничего не ответил.

- У нас тут есть стихотворец свой, доморощенный, самородный эдакий талант, и какие же стихи качает - страсть. Вот бы вам прочесть.

Я молчу.

- Если угодно, я могу достать вам тетрадку - любопытно. Что ж такое? Отчего ж от скуки и не прочесть?

Но видя, что я не отвечаю, он вздохнул и стал подтягивать певчим.

После обеда Ф[окин] пригласил меня к себе пить кофе и оставил даже обедать. Тут, впрочем, узнал я не много нового: Ф[окин] все хлопотал о том, чтобы я как можно больше ел, а жена его, оказавшаяся отличной хозяйкой, до такой степени суетилась и старалась угодить, что мне даже стало совестно: точно я генерал какой-нибудь. После обеда, когда мы сели на диван, Ф[окин] рассказал, что в городе много купеческих капиталов¹⁰, но что все они, кроме двух-трех, ничего не значат, потому что в гильдию записываются во избежание рекрутской повинности¹¹, что город записали было по числу капиталов в первый разряд, но голова поехал в Петербург хлопотать о том, чтобы выписать город из первого разряда, так как купцы не в силах нести всей тяжести возлагаемых на первоклассный город обязанностей.

- Наш городочек маленький, жалкенький, где нам за другими тянуться? - говорил Ф[окин], сидя на другом конце дивана и добродушно, кротко улыбаясь.

- Как же вы говорите, что город ваш беден? Ведь у вас промыслы большие: кожевенный,

кузнечный, рыболовный.

- Это все так, только нам все-таки до Ржева или до Старицы далеко. Всякие промыслы, всякие ремесла есть у нас; каких-каких мастеров у нас нет, а ведь ни одного такого промысла нет, чтобы во всей силе, настоящий, значит, был.

Есть вон, пожалуй, - спохватившись, заметил он, - есть, точно, фабрика бумажная¹², да ведь городу от нее пользы никакой, и работают-то на ней больше чужие, не здешние; ну кузнечики точно, что еще туда-сюда, поколачивают, а настоящий только один и есть Алексей Михайлович Мосягин. Беднеет наш городочек, - заключил он, - очень беднеет. Торгуем больше по привычке, для виду, этими там сапожками да рыбкой. Гордости у нас много, потому и торгуем. Рыбкой и то обеднели: повывелась рыбка совсем.

- Ну, а как же банк-то? Откуда же там двести тысяч?

Ф[окин] улыбнулся.

- А как бы нам копейку, - закричал он в другую комнату. - Как бы хорошо теперь копейку со сливочками.

- Сейчас, сейчас, сливки греются, - слышно из залы.

Там уж давно гремели чашки, мальчик бежал, осторожно ступая по отлично вымытому полу, и вот опять является поднос с чашками и с какими-то особенными сушеными булками.

- Пеночек-то, пеночек побольше берите! - угощает меня супруга Ф[окина], вся красная от хлопот по хозяйству. Она тоже берет чашку и садится с нами пить кофе.

- А что, у вас папаша с мамашей есть? - спрашивает она с участием.

- Мамаша есть, а папаши нет.

- Ах, скажите, какая жалость!

Я начинаю скоро-скоро размешивать ложечкой кофе и стараюсь наморщить брови.

- Как у вас женщины хорошо одеваются! - говорю я, желая свести разговор с этого чувствительного предмета опять на Осташков. - Я сегодня видел у обедни: какие шляпки! какие бурнусы!

- Да, уж у нас бабеночки любят принарядиться, - лукаво подмигивая мне, отвечает Ф[окин]. - Театры, гулянья да наряды просто

их с ума свели. Другая ложечки да образочки последние заложит; хоть как хочешь бедна, а уж без карнолинчика к обедне не пойдет.

- А разве у вас есть закладчики?

- У нас местечко такое есть: что хотите возьмут. Что кокошничков старинных с жемчугами, поднизей¹³, сарафанчиков парчовых снесли туда наши бабеночки: все принимают, ничем не брезгают. Мода такая у нас есть; опять танцы, публичные садочки, театры; ну, разумеется, никому не хочется быть хуже другой: осмеют. Из последнего колотятся, только бы одеться по моде да к обедне в параде сходить. Другая гражданочка всю неделю сапожки тачает не разгибаясь, и ручки-то у ней все в вару, ребятишки босые, голодные, а в церковь или на бульвар идти, посмотрите, как разоденется, точно чиновница какая.

А тут опять является поднос с вареньем, брусникой и мочеными яблоками. Наконец я начинаю чувствовать, что наелся до изнеможения, что к продолжению беседы оказываюсь неспособным и потому отправляюсь домой спать.

Странный человек этот Ф[окин]! Родился,

учился и состарился в Осташкове, мастерство свое сам, собственными усилиями, довел до замечательного искусства; у него очень много вкуса, страсть ко всему изящному. На старости лет вздумал учиться музыке и самоучкой выучился играть на фортепьяно.

Вечером я сделал еще три визита с рекомендательными письмами.

Прежде всего пошел к одному сановнику, проживающему в городе, и застал его гуляющим по зале с каким-то гостем. Я отдал письмо. Сановник прочел и пригласил меня в гостиную.

- Не прикажете ли трубку?

Я отказался.

- Так вот-с, - начал сановник, свертывая письмо мое фунтиком, - вы приехали, собственно, затем, чтобы посмотреть на нас - осташей, - как мы тут живем?

- Об Осташкове столько писано, столько говорят, - начал было я.

- Да, стоит, стоит, нарочно стоит приехать посмотреть, любопытный город! Нет, я говорю, - обратился он к гостю, который тоже уселся поодаль, - я говорю, что значит Рос-

сия-то матушка?

- Да-с.

- Да вот хоть бы наш Осташков. Что такое? Вдруг где-то там, в захолустье, на болоте, стоит уездный городишко, растет, богатеет, заводит у себя свою пожарную команду, банк!.. Понимаете? - банк! Ведь это что такое? Театр!.. Библиотеку для чтения!.. А? Ну, где это видано? Наконец, живет самостоятельно, как будто там какой-нибудь Любек, что ли¹⁴. И никто об этом знать не хочет. А ведь будь это за границей, уши бы прожужжали, а у нас нет. Самолюбием бог нас обидел, вот горе! Я вон депешу сейчас прочел в газетах: дают знать, что королева Виктория¹⁵ проехала из Винзора в Осборн (она туда каждую неделю ездит); ведь депеша, не забудьте! Телеграф сообщает такое важное событие, а мы сдуру сейчас печатаем, что вот какое событие: королева проехала в Осборн. Да на кой черт мне это нужно?.. (слово черт сановник произнес чхорт). Ты вот мне лучше о родном городе напиши, чтобы я знал, что вот в таком-то городе такие-то улучшения, а он мне про королеву Викторию!

- Ведь это все Федор Кондратьич, - заметил гость.

- А? Да, вы про улучшения. Да, ну не совсем. Он, конечно, имеет на них большое моральное влияние и многое может сделать для города. Да чего же лучше? Теперь пожарная команда есть. Своя ведь у нас пожарная команда, не казенная, из обывателей, - сообщил он мне.

- Как же-с, я знаю, - поспешил я ответить.

- Нет, я ему говорю: "Что ты не выхлопочешь себе полиции из обывателей?"

Его же там в Петербурге все знают: мог бы выхлопотать; и ведь разрешат.

- Отчего же не разрешить? - заметил гость.

- Как?

- И я говорю, что отчего же не разрешить? - повторил гость погромче.

- Ну да, разумеется. ведь они могут быть покойны. Знают, кому разрешить. Другому, конечно, не позволят. Эй! Поддай мне трубку! - вдруг крикнул сановник.

- И мне, братец, тоже, - сказал гость.

Старый лакей, с длинными седыми висками, принес две трубки и зажженную бумаж-

ку. Подал трубки, подержал бумажку и потом погасил ее пальцами.

- Я слышал, что город, кажется, изъявлял желание провести железную дорогу от Осташкова до Вышнего Волочка? - решил я спросить.

- Был проект, как же, - держа янтарь в губах, отвечал сановник. - Только не город, а частное лицо хотело взять на свой счет половину издержек, а другую половину предлагало другому лицу, но тут вышли какие-то недоразумения, и дело не состоялось. Конечно, это было бы хорошо. Я говорю: соедини только Осташков с Петербургом и Москвой, - ведь он на полдороге стоит, - вы понимаете, как бы это подняло город? Теперь одних богомольцев перебивает здесь до десяти тысяч; сколько же наедет, если провести дорогу? Потом вся промышленность этого края оживится; Осташков же будет служить ей центром.

- Сколько я знаю, - заметил я опять, - промышленность города и окрестных сел очень незначительна, кроме рыбной, которая тоже, говорят, слабеет, вследствие неправильного лова. И мне кажется, что упадок промышлен-

ности края происходит не от недостатка путей сообщения, напротив, их слишком много: вода; а от недостатка капиталов.

- Ну, этого нельзя сказать, чтобы у нас не было капиталов. У нас есть банк, в котором лежат двести тысяч, у нас есть, кроме того, богачи - Савины. Они на своих собственных кораблях привозят хлопок для своей дилатюрной фабрики из Америки и Ост-Индии. У нас есть кожевенные заводы, кузнечное производство, потом мужик везет свой продукт тоже в город, а здесь покупает сапоги. Наконец, вот вам еще: мы имеем здесь прекрасную рыбу; мы имеем судаков, лещей, мы имеем налима. Нет, я вам расскажу интересную вещь: сегодня утром (сановник опять обратился к гостю) - говорю я сегодня повару: ступай, говорю, братец, на базар и принеси ты мне леща.

Но, к несчастью, окончания этого интересного рассказа о леще узнать мне было не суждено, потому что вошел человек и доложил о приезде еще двух гостей. Пошли разговоры о мировых съездах, споры о недобросовестности посредников и о невежестве мужиков; но

так как мне хотелось поспеть в шесть часов к одному должностному лицу, которое обещало меня ждать, то я откланялся и ушел.

Солнце уже село, и по всему озеру разлился тот великолепный фиолетовый цвет, который можно видеть только на взморье. Не мог я не заглядеться на озеро, на дальние берега, на сети, развешанные над водой. В воздухе пахнет рыбой и мокрым деревом; рыбаки, вернувшиеся с ловли, выгружают добычу, стоя по колени в воде; лодка несется под парусом, ближе и ближе, и сразу врезалась носом в берег. Чайки уныло кричат, ребенок плачет где-то в рыбацкой избушке. Так я дошел до самого дома должностного лица и позвонил. Застал я его за чаем, в обществе двух офицеров и одного красивого молодого человека в штатском платье. Пошли опять те же вопросы:

- Так вы, собственно, посмотреть на Осташков приехали? - и т. д.

- Не стоит, - говорило должностное лицо, развалясь в кресле. - Самый подлый городишко. Вы не верьте, что вам об нем рассказывали, - врут.

- Чем же он нехорош?

- Да всем. Первое - жизнь дорога, климат убийственный, говядина гнусная, общества никакого; раки только вот одни и есть; да еще воры здесь отличные. Вот это правда.

Офицеры дружно засмеялись.

- Новоторы¹⁷ - воры, да и осташи хороши, - как будто про себя сказал красивый молодой человек, покачиваясь на стуле.

Я делаю легкое возражение и указываю на поголовную грамотность в Осташкове как на факт весьма знаменательный.

- Помилуйте! Что ж тут знаменательного? Это все вздор! - отвечает должностное лицо в припадке отрицания. - Все вздор! Невежество полнейшее. Да и какого он черта будет читать? Позвольте вас спросить.

- А библиотека?..

- Библиотека!.. - иронически повторяет должностное лицо. - Нашли библиотеку. Да вы не знаете ли, извините, не имею чести знать вашего имени?

- Василий Алексеевич.

- Знаете ли вы, почтеннейший Василий Алексеевич, что такое библиотека?

Пауза. Мы смотрим друг на друга.

- Ведь, это, батюшка, четыре тысячи двести тридцать восемь томов.

Понимаете? Четыре тысячи двести тридцать восемь томов, ну и кончено, и весь разговор. У нас-де вот четыре тысячи двести тридцать восемь томов; у нас двести тысяч в банке; у нас его превосходительство всегда довольны остаются. Ведь это все у нас, а у вас что? У вас этого нет. У! У! У вас нет, у вас нет! А у нас есть, а у нас есть! Вот вам и библиотека! Помилуйте, что тут может сделать грамотность, когда у меня в брюхе пусто, дети кричат, жена в чахотке от климата и тачания голенищ? Что толку в том, что я грамотный, когда мне и думать о грамоте некогда? Бедность одолела, до книг ли тут? Ведь это Ливерпуль¹⁸! Та же монополия капитала, такой же денежный деспотизм; только мы еще вдобавок глупы, - сговариваться против хозяев не можем - боимся; а главное, у них же всегда в долгу. А праздник пришел, я первым долгом маслом голову себе намажу и к обедне, потом гулять на бульвар или в театр. Нельзя же, у меня развитой вкус; тщеславие дурацкое так

и прет меня врозь. Баба готова два дня не евши сидеть и детей поморить голодом, только бы на бульвар в шляпке сходить да на житном в беседочке посидеть. Разврат! Девчонка, вон она (он указал на печку). От земли не отросла, а тоже в училище без кринолина ни за что не пойдет. Вот вы говорите там - грамотность, библиотека, школы, ну, хорошо-с. Ведь уж учат, кажется, на что лучше: и грамматике, и географии, и истории, и чему-чему не учат; и там в школе они все это отлично знают и гимны там разные поют, а не угодно ли послушать - как он говорит, когда выйдет из школы? Отчего же это от горазно, да от горажже, да от разных там письци да едци никак он отвыкнуть не может? Поглядите вы на него в школе, где он вам об Тургеневе расскажет, и потом послушайте его через год по выходе из училища, когда уж он в работу пошел и начнет в воды шкуры мочить, или из воде рыбу таскать. Вот вы тогда и увидите, какую пользу ему грамотность принесла. А тут вот еще просветители-то радеют. - Он указал на офицеров.

- Ваши солдатики-с!

Офицеры, занявшиеся было своим разговором, стали вслушиваться.

- А что? - спросил один.

- Да разные художества развивают в наших мещанах, то бишь гражданах. Все забываю. Ведь они у нас не мещане, а граждане.

- Что ж? Я дурного еще ничего не вижу в том, что они граждане.

- Да и я не вижу; только гражданами-то у нас мещане себя называют. Вчера еще он был гражданин, а сегодня, положим, в гильдию записался; попробуйте-ко его гражданином называть, так он на вас просьбу подаст - оскорбили. Сегодня уж он купец, а не гражданин. Вы думаете, он понимает, что это такое - гражданин? Он себя потому гражданином называет, что эта кличка все-таки лучше, нежели мещанин, так же вот, как лакей у богатого барина никогда не назовет себя "лакеем", а говорит: "Я камердинер", "Я дворецкий". Вы, батюшка, не обольщайтесь этими штуками: банками там разными да театрами, - это все блески. Вот вы поживите здесь да копните-ко хорошенько, вот и увидите, что Осташков - это маленький Китай, с той только разницей, что

мы еще мышей не едим, а то ни в чем не отстали.

- Скажите, пожалуйста, - перебиваю я, - как же теперь согласить этот китаизм¹⁹, как вы говорите, с теми успехами, которые заметны здесь в городском устройстве?

- А вот поживете, узнаете, какие мы тут успехи оказываем, как мы эти разные современные польки вытанцовываем. Я вот вам как скажу: осташ кровно убежден в том, что лучше его города быть не может, что Осташков так далеко ушел вперед, что уж ему учиться нечем", а что Россия должна только удивляться, на него глядя. Кроме своей пожарной команды и Федора Кондратьича осташ знать ничего не хочет; он не шутя уверен, что там, дальше, за Селигером, пошла уже дичь, степь киргизская, из которой время от времени наезжают к нам какие-то неизвестные люди: одни за тем, чтобы хапнуть, а другие, чтобы подивиться на осташковские диковины и позавидовать им. Потом он знает еще, что где-то там за Селижаровкой есть город Питер и что ежели в Осташкове что-нибудь нездорово, то Федор Кондратьич съездит

в Питер и отстоит своих осташей.

- Это так, - подтвердил красивый молодой человек, а хозяин, прихлебнув из стакана, продолжал:

- Вот хоть бы вы теперь приехали, как вы думаете? - То они о вас говорят? Собрались где-нибудь и толкуют: "Вот, мол, приехал, нарочно приехал посмотреть на нас. Стало быть, мы, братцы, известны всему свету, и все только о нас и говорят, только и думают". Впрочем, нет, и это вздор, они о вас думают просто, что вы шпион, только никак понять не могут, от кого и зачем вы подсланы. Какой тут прогресс! помилуйте! - подумав немного, сказал он. - Застой, самый гнусный застой и невежество с одной стороны, и нищета с другой. Вот стуколка здесь процветает, это правда! - вдруг неожиданно завершил он, обращаясь к офицерам. - Так ли я говорю, господа?

Офицеры, осовевшие было во время разговора, встрепенулись и отвечали одобрительной улыбкой.

- А что? Не стукнуть ли нам20 и всерьез? - спросил он меня. - Вы не упражняетесь в сем

душеспасительном занятии?

- К несчастью, нет. Да мне и пора. Нужно еще побывать у одного господина.

- Ну, делать нечего. Желая вам веселиться. А мы вот с господами офицерами стукнем. Здесь, батюшка, без стуколки просто бы смерть. Делать нечего, читать нечего. Из библиотеки журналов не добьешься, нету. Что прикажете? Лежат там у кого-нибудь неразрезанные, а тут жди целый месяц, да когда еще по иерархической линии очередь дойдет. А вам бы уж дожидаться возвращения Федора Кондратьича из Петербурга, - говорил он, прощая меня, - он бы вам все это систематически разъяснил, он на эти дела мастер. До свидания.

Третий визит нужно было сделать одному бывшему влиятельному лицу в городе.

Пока я дошел до него - уже совсем почти смеркло. На бульваре попались два-три чиновника с женами, а за бульваром пошли заборы и фабрики; улица усажена липами; у ворот большого каменного дома толпятся люди. Я подошел к одному, дворнику, и спросил: "Дома ли***?" Дворник пристально посмотрел

мне в лицо и тоже спросил:

- Ты от кого?

- Сам от себя.

- Зачем?

- Дело есть.

- К самому?

- К самому.

- Сам-то он у нас не любит, у нас все в контору! Ну, да вот я как тебе скажу. Слушай! Коли хочешь ты себе добра, - ступай ты, - вон видишь подъезд,

- Стань ты у подъезда и дожидайся. Он сейчас выйдет, - вон лошадь подана.

Как выйдет, чтобы ты был тут безотменно и сейчас можешь просить, что тебе нужно. Ну не мешкай, ступай! Я вижу, ты парень хороший.

Поблагодарив дворника за добрый совет, я, однако, вошел на крыльцо и позвонил. Вышел лакей.

- Дома?

- Пожалуйте! Я сейчас узнаю.

Я вошел в приемную, большую комнату с лоснящимся полом, старинной мебелью и фарфоровыми игрушками на горках. Лакей

пошел с принесенным мною письмом и через несколько минут возвратился, говоря, что скоро выйдут, - занимаются. В ожидании выхода я стал ходить по комнате. Из приемной дверь отперта в большую залу, выкрашенную желтой краской, на стенах газовые рожки и узенькие старинные зеркала в позолоченных рамах, пахнет киндер-бальзамом^{21*}. Минут через десять вышел ко мне человек лет сорока пяти, с небольшой лысиной и недоумевающим лицом, держа в руках мое рекомендательное письмо. Мы вошли в залу и сели у окна.

- Вы, - начал он, - вы, как я понял из письма, определяетесь к нам в город учителем?..

Я вытаращил глаза.

- Как? Неужели это могло быть написано в письме?!

Но в ту же минуту я догадался, в чем дело. Ясно было, что он не понял написанного в письме. Взглянув пристально в лицо человеку, который сидел против меня и в недоумении смотрел мне в глаза, я сообразил, что он легко мог спутать выражения изучать город и учить в городе. Такая ошибка во все не удивит-

тельна в человеке, который, как видно, никогда никого не учил и ничего не изучал. Однако я поспешил разрешить недоразумение и тут же стал объяснять, зачем, собственно, я приехал в Осташков. Но в то же время мне пришло в голову: если уж этот господин, на которого главным образом возлагались мои надежды, так дико отнесся к моему делу, чего же ждать от других? От него я надеялся получить разные официальные сведения, и, кроме того, меня уверили, что он, с своей стороны, может сообщить мне много интересного, как человек влиятельный и коротко знающий по крайней мере современную ему эпоху из истории цивилизации Осташкова.

- А! Да-с; я понимаю-с, понимаю-с, - заговорил он скороговоркой. - Это значит - вам нужны сведения. В таком случае не угодно ли вам будет обратиться в нашу контору: там вам все это, да там уж знают-с. У нас бывали такие случаи. Это можно-с. Очень хорошо-с. Я ве-лю-с.

И все это так скоро, скоро, с озабоченным видом. Самое благоразумное, что можно было сделать после такого полезного разговора,

это - поблагодарить за обещание и удалиться, что и сделал я. Сем и кончились в этот день мои покушения на знакомство с осташковскими властями.

Примечания ко второму письму

1 Фельдфебель - унтер-офицер в русской армии.

2 Чуйка - верхняя мужская суконная одежда в виде кафтана, распространенная в мещанской среде в XIX - начале XX вв.

3 Бурнус- род старинной верхней женской одежды.

4 Клирос- возвышение по обеим сторонам алтаря, место для певчих в церкви во время богослужения.

5 Фортиссимо (ит.) - громко.

6 Анданте (ит.) - умеренно.

7 Аллегро (ит.) - быстро.

8 Паникадило - большая люстра или многогнездный подсвечник в церкви.

9 Арабески - сложный орнамент из геометрических фигур и стилизованных листьев, цветов и т. п.

10 В Осташкове в 1860 году было 307 купеческих капиталов 3-й гильдии, 2 капитала 2-й и один - 1-й (Примеч. В.А. Слепцова.).

11 "В гильдию записываются во избежание рекрутской повинности" - купечество было освобождено (с 1783 г.) от рекрутской повинности, за каждого рекрута в казну вносилось 500 рублей.

12 "Есть фабрика бумажная". - Должно быть, имеется в виду бумагопрядильная фабрика Савиных, основанная в 1839 году.

13 Поднизи - жемчужная или бисерная сетка, бахромка на женском головном наряде.

14 "Как будто там какой-нибудь Любек, что ли". - Любек - один из трех ганзейских независимых городов, получивший с 1226 года политическую самостоятельность.

15 Королева Виктория (1819-1901) - королева Великобритании с 1837 года.

16 Дилятюрная - бумагопрядильная.

17 Новоторы - жители города Новый Торг.

18 Ливерпуль - крупный промышленный и торговый город в Великобритании.

19 "Как же теперь согласить этот китаизм". - Китаизм в представлении европейцев

XIX века символизировал отсталость, отсутствие социального прогресса.

20 "Не стукнуть ли нам" - речь идет о стукалке - азартной картежной игре. Стучать - здесь: играть в стукалку.

21 Киндер-бальзам - лекарство от кашля для детей.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Школы

В продолжение этой недели я видел и слышал столько, что вдруг всего и сообразить не могу. А тут еще скверная привычка - систематизировать все на свете и от всякого вздора добиваться смысла, - только сбивала меня с толку. Беспрестанные противоречия и в словах и на деле с каждым днем осложняются все больше и больше, а вместе с ними сильнее и неотступнее мучит меня вопрос: что такое Осташков? И чем проще стараюсь я разрешить его, тем более теряюсь в этой путанице противоречий, которые как нарочно случаются самым непонятным, самым невозможным образом. Наконец, мне приходило в голову, что все эти господа, с которыми я здесь вижу, - все более или менее врут. Убедившись в этом, я взялся за факты, за цифры - и они врут! Понимаете ли? врут официальные сведения, врут исследования частных лиц, врут

жители, сами на себя врут. Вы понимаете, как это должно раздражить любопытство, как это поголовное вранье подстрекает и поддразнивает, и до какой степени вопрос, - что такое Осташков? - становится интересным. Теперь я решил просто записывать, что вижу и слышу, записывать все, не сортируя, не анализируя фактов и слухов. Делайте с ними что хотите, освещайте их как угодно; я буду только записывать.

В хронологическом порядке прежде всего следует рассказать о женском училище.

Попал я туда нечаянно: шел мимо и зашел. Поднялся на лестницу, вижу - дверь в сени отворена; я туда. В сенях девочка стоит и пьет воду. "Можно войти посмотреть?" Говорит: "Можно".

- Есть кто-нибудь в классе?

- У нас в старшем классе смотритель сидит.

- Ну и отлично.

Я снял пальто и прямо в класс, вслед за девочкой. Девочка только успела сказать о моем приходе смотрителю, как я уж вошел. Смотритель сидел на скамейке, а вокруг него столпились ученицы и смотрели в книгу: он

им что-то там показывал. Появление мое было все-таки очень неожиданно; все вдруг всполошились, и зритель тоже не знал, что подумать. Тут только я вспомнил, что поступил не совсем вежливо, - не предупредив никого, вошел в класс, - а потому поспешил извиниться и просил позволения послушать, как они занимаются. Сначала класс немножко было сконфузился, но скоро все пришло в порядок: девочки сели по местам и зритель начал делать им вопросы.

В классе - в очень светлой и чистой комнате - помещалось девочек 30, не моложе 10-12 лет, все очень тщательно одетые и причесанные, в чистых воротничках. И так как я застал их врасплох, то наверное можно сказать, что заранее приготовленного ничего не было. С первых же двух-трех вызовов можно было догадаться, что ученицы размещены по успехам. На первой скамейке сидели девочки по старше и отличались перед прочими даже некоторой изысканностью туалета. Для первого опыта вызвана была девочка лет двенадцати, сидевшая с краю на первой скамейке, с круглым лицом, тщательно одетая, в белом

фартуке, с бархоткой на шее; по всей вероятности, очень скромная, старательная, но не с бойкими способностями девочка.

- Раскройте книгу на такой-то странице, - сказал смотритель.

Все в одну минуту отыскали требуемую страницу.

- Читай!

Девочка начала читать какой-то исторический отрывок, кажется, из руководства Паульсона 1, где упоминалось что-то о финикиянах 2.

- Ну, довольно, - сказал смотритель. - Вот мы сейчас прочли о финикиянах. Не можешь ли ты мне сказать, чем занимался этот народ?

Девочка опустила книгу на стол и, бесстрастно глядя на смотрителя и вытянув шею, начала говорить очень скоро, не прерывая голоса:

- Финикияне, финикияне, они занимались, они занимались тор-тор-торговлей.

- Так, торговлей, - одобрительным тоном подтвердил смотритель. - Ну, а почему они выбрали именно этот род занятий? Что их побудило к этому?

Девочка продолжала смотреть прямо в глаза зрителю и, не шевелясь, опять зачастила:

- Их побудило, их побудило к этому то, что они...

- Ну, что?

- То, что они избрали это занятие, - опять было начала девочка и остановилась.

- Почему же они избрали именно это занятие? - Допытывался зритель, притопывая ногой на слове это.

Девочка молчала, не спуская своих белых, бесстрастных глаз с зрителя.

- Жили на берегу моря, на берегу моря... - шепчет кто-то сзади.

- Потому что они жили... - опять начала было девочка.

- Ну, где ж они жили?

- Они жили...

- На берегу моря... - подсказывают сзади.

- На берегу моря, - нерешительно говорит девочка, вдруг изменив тон.

- Ну да. Потому что они жили на берегу моря, - одобрительно покачиваясь, заключает зритель.

- Потому что они жили на берегу моря, - успокоившись, как будто запоминая уже про себя, повторяет девочка.

- А какие они сделали изобретения?

- Они изобрели меру и вес.

- Хорошо. А еще что они изобрели?

- Компас, - шепчут сзади.

- Еще они изобрели компас, - торопливо отвечает девочка.

- Так, компас, - подтверждает смотритель, моргая от нюхательного табаку, и, обратившись ко мне, говорит вполголоса:

- Многого, знаете, от них и требовать нельзя: мы еще недавно принялись за эту систему. Не угодно ли послушать; вот я еще других спрошу. Довольно! - сказал он отвечавшей ученице. - Петрова!

Петрова, сидевшая на второй скамейке, должно быть, шалунья страшная, быстро вскочила, обдернула фартук, сложила руки на желудке и, как солдат, вытаращила на смотрящего глаза.

- Петрова! скажи, что такое компас?

- Компас - это астрономический инструмент, употребляемый мореходцами для того,

чтобы не сбиться с пути, - бойко однообразным голосом отрапортовала она и сразу оборвала на последнем слове.

- Что он показывает?

- Он показывает страны света.

- Сколько стран света?

- Четыре: север, юг, восток, запад.

- Хорошо. Иванова! Какие еще изобретения сделали финикияне?

Иванова, - бледная, золотушная девочка, очень бедно одетая, встала и печальным монотонным голосом объявила, что финикияне изобрели еще пурпуровую краску.

- А кто был, как говорят, причиной этого изобретения? Матвеева!

Матвеева, занявшаяся было ковырянием стола и, должно быть, не слушавшая, встала, спрятав руки под фартук, и покраснела.

- Кто же был причиной?

- Собака, - шепчут сзади, - собака...

- Соболь!.. - не расслушав, пискнула Матвеева нерешительно и в недоумении посмотрела на всех.

Девочки фыркнули в книги.

После того вызвано было еще пять или

шесть девочек, и многие отвечали очень хорошо. Видно было, что они, если не всё, то очень многое понимают из того, что отвечают. Потом вызвана была одна девочка к доске; ее заставили написать под диктовку басню, - без знаков препинания, - другая расставила знаки очень удовлетворительно; хотя заметно было, что и эта басня и расстановливание знаков им давно знакомы. В ответах, несмотря на их точность и ясность, не понравилась мне какая-то казенная манера отвечать по-солдатски, вытянув шею и бесстрастно глядя в глаза тому, кто спрашивает. Да и эта излишняя книжная точность ответов, несвойственная детскому возрасту, показалась мне очень подозрительной. Вообще рассуждения - как я убедился и после - не в духе принятой здесь системы. После этого испытания девочки принесли мне посмотреть разные воротнички, рукавчики и юбки своей работы; потом взяли ноты, стали передо мной в кучку и запели: "боже, царя храни"; потом смотритель сказал мне, что они в виде забавы учатся и светскому пению.

- Ну-ко, девицы, "кукушку"!

Все зашевелились, достали другие ноты, стали опять в кучку и затаили старинную песенку, сочиненную каким-то монахом: "ты скажи, моя вещунья"; причем одна высокая, худощавая девочка делала соло: "Ку-ку! Ку-у-ку-у! Ку-у-ку! Ку-ку! Ку-ку!" - и делала в это время такое наивное и сосредоточенное лицо, что я чуть было не засмеялся. Наконец, узнав, что пению обучает диакон, и поблагодарив зрителя и учениц за доставленное мне удовольствие, я собрался уходить, но зритель повел меня еще в младший класс, где супруга его занималась с девочками рукоделием.

Тут я опять имел случай видеть огромное количество воротничков, чулков и проч., очень искусно сделанных девочками лет 9-10. Оттуда мы прошли в приготовительный класс, небольшую комнату, где человек 50 уже совсем маленьких девочек учились читать. Тут были всевозможные девочки и в самых разнообразных костюмах: девочки, еще носившие на себе явные следы родного запечья и не успевшие еще усвоить себе ни этой прилично-бесстрастной наружности, ни при-

торно-школьной беспечности; девочки вовсе еще не выделанные, с большими животами, разинутым ртом и в родительских обносках. Но и тут показал мне смотритель одну только что приведенную и уже совсем испорченную девочку, дочь достаточных родителей, которая отлично умела читать по знакомой книге, когда ей говорили первое слово, но, начав читать, она не могла уж остановиться, а остановившись, не могла начать с середины или указать слово, которое она только что прочла. Постояв несколько минут в классе и подивившись успехам звуковой системы, вышли мы в сени, где кучей лежало детское платье. Смотритель предложил мне пройти с ним в другое отделение дома и взглянуть на уездное училище. Впрочем, там особенно замечательного мы ничего не нашли. Все было в порядке: в первом классе законоучитель объяснял мальчикам катехизис; во втором классе несколько глуховатый наставник просматривал написанную на аспидных досках 3 басню "Лягушка и вол" 4; а в третьем - маленький, но необыкновенно шустрый мальчик во все горло доказывал равенство прямоугольных тре-

угольников. Мальчик удивительно бойко подскакивал к доске и, подымаясь на цыпочках, ловко постукивал мелом по буквам, написанным на доске, крича что есть мочи:

- В предыдущий раз показаны были условия равенства всех треугольников вообще, а посему они относятся и к прямоугольным. Но равенство сих последних, как более определенных по своей форме, может быть доказано и при других условиях, которые недостаточны для треугольников вообще.

- А как доказать равенство прямоугольных треугольников? - в том же тоне и так же громко спрашивал учитель, стоя в некотором отдалении и указывая издали мизинцем на треугольники, нарисованные на доске.

- Для того, чтобы доказать требуемое, предположим, что... и т.д. Если докажем, что $a^2 = b^2 + c^2$, то вместе с тем докажем предложение, - повернувшись на каблуках, кричал бойкий мальчик. - Для доказательства вышесказанного мы можем принять три случая.

Кончив все три случая и крикнув в заключение: "что и требовалось доказать" - мальчик поклонился, вытер себе руки и самодо-

вольно сел на место.

Прощаясь с зрителем, я спросил его, чем можно объяснить такое огромное число желающих учиться в осташковских школах.

- Да как вам сказать? - отвечал он. - Должно быть, сознаем пользу, что ли. Уж бог знает.

- Мне кажется, что главной причиной этому служит грамотность родителей, - заметил я.

Он немного помолчал и наконец, как будто раздумывая о чем-то, сказал:

- Вот, видите ли! О родителях я могу вам рассказать такой случай: приходит ко мне, например, какая-нибудь там сапожница, что ли, приводит мальчика или девочку и говорит: "возьмите их, сделайте милость. Мне с ними, с пострелятами, смерть пришла. И без них тошно. Смотреть за ними некому: того и гляди друг дружке глаз выколют; а как они половину-то дня в училище просидят, мне все свободнее". - Ну, вот, я их и приму. И пошли они ходить - учиться. И ведь такие случаи беспрестанно повторяются, чуть ли не каждый день. Мать сама ему не дает лениться, чтобы он ей не мешал. У нас, как вам извест-

но, бедные мещанки все до одной заняты работой целый день; разумеется, ей некогда с детьми возиться. В четыре часа он пришел домой, мать его опять сажает за книгу; учи завтраму урок; а потом спать. Вот и целый день.

- Все это так; но согласитесь, что и в других городах та же бедность и те же дети?

- В других городах, видите ли, не то: там, во-первых, у матерей больше свободного времени, потому что в других городах мещанки обыкновенно ничего не делают; следовательно, имеют возможность сами возиться с ребятишками; а во-вторых, потому, что там и училища большею частью так устроены, что родители боятся посылать туда своих детей. То, глядишь, учитель клок волос у мальчика вырвал, то смотритель велит сказать отцу, чтобы к празднику непременно гуся принес, а не то, говорит, сына запорю. Ну, а у нас этого нет. У нас все это, знаете, облагорожено. Ну, да что тут. Поживете, увидите, - заключил он, махнув рукой, и мы расстались.

"Из вышесказанного что следует заключить? - рассуждал я по выходе из училища, -

что вопрос о народном образовании сводится на вопрос экономический". Но тут же вспомнил о возложенном мною на себя обете - удаляться по возможности от рассуждений и не произносить приговоров о том, что мне приходится видеть и слышать; а потому непосредственно после этого благодушно занялся обозрением того, что было у меня перед глазами, то есть разных зданий и вывесок. Шел я без всякой определенной цели, завернул в почтовую контору, спросил, нет ли писем из Москвы, поклонился неизвестно по какой причине поклонившемуся мне лавочнику и вдруг на одном перекрестке наткнулся на Ф[окина]. Он отыскивал меня по всему городу и спешил сообщить новость, что он у какой-то вдовы нашел тетрадку, в которой, как я мог догадаться, заключались разные исторические, статистические и этнографические сведения об Осташкове, писанные каким-то умершим священником. Я поблагодарил его за услугу, и мы пошли вместе.

- Ну, куда ж мы теперь пойдем? - спросил я его.

- Да куда хотите. Я было приготовил тут уж

человечка три насчет рыбного-то промысла. Эти ничего, они могут рассказать; я их успокоил, чтобы они не боялись; что тут ничего такого нет. Они согласились; ну, а вот насчет кожевенного производства уж и не придумаю, как нам быть. Есть один, да не скажет: боится, и ничем его не успокоишь. А то вот знаю я тут еще одного старика. Он бы мог, если бы захотел, не только о своем деле, но и обо многом бы другом мог рассказать, да нет, никак не уломаешь.

- Вы только познакомьте, может как-нибудь и уладится дело.

- То-то, боюсь. Бог его знает, в какой час попадешь: изругает ни за что. Уж я думал, думал...

- Что это за дом? Скажите, пожалуйста!

По ту сторону улицы из деревянных домиков самой обыкновенной, провинциальной наружности, так и вырезывался какой-то старинный, каменный, двухэтажный дом, выкрашенный желтой краской, с неуклюжими окнами и крутой железной крышей.

- А это духовное училище.

- Знаете что? Нельзя ли туда зайти- по-

смотреть? Я ни разу не бывал в этих заведениях.

- Я думаю, что можно. Пойдемте, спросим.

Тут только я вспомнил, что на днях я познакомился с одним из учителей этого училища, и мы прошли к нему в квартиру, тут же в училищном доме. В это время была рекреация 5, и мы застали его. Не без некоторого сердечного волнения проходил я коридором, где попались нам несколько человек учеников, в затрапезных халатах, с коротко остриженными, точно выщипанными головами и с затасканными книжонками в руках. Когда мы вошли в убогую комнатку учителя, он пил чай, встретил меня уже как знакомого и предложил чаю. С Ф[окиным] он не был знаком, несмотря на то что Ф[окина] знает весь город. Учителя духовного училища живут особняком и ни с кем почти не знают, кроме духовенства. Я объяснил ему мое желание - видеть училище, но он сказал, что не может меня ввести в класс без позволения инспектора, который был тут же в училище и исполнял должность преподавателя греческого языка.

- Погодите, я схожу, спрошу.

Он ушел. Я стал рассматривать тетрадки учеников, кучей лежавшие на окне. Это был перевод из Саллюстия 6. На другом окне лежал табак, чай, вакса и другие принадлежности туалета. За ширмочками кровать; на стене какая-то жалкая картина духовного содержания; у стены стол, диван, несколько стульев да самовар за занавеской. Вот и все. Вернулся учитель с разрешением, и мы все трое пошли по каменной лестнице с обшарканными ступеньками наверх; и так как рекреация уже кончилась, то мой знакомый учитель привел нас в свой класс. Он учил латинскому языку. Ученики вскочили, и старший прочел молитву. Я попросил заставить кого-нибудь переводить для того, чтобы мне удобнее было рассмотреть учеников. Боже мой, что это такое?!. И еще, говорят, в Осташкове духовное училище одно из лучших в этом роде. Во-первых, меня поразил особенный запах, который так и бросается в нос, только что отворишь дверь в класс. Что это за запах, трудно определить. Это какая-то смесь, букет какой-то, составленный из запаха капусты, кислых полусубков и дегтярных сапог, смешанный с за-

пахом живого человеческого тела, и притом такого тела, которое бог знает с которых пор не было в бане и страдает изнурительной испариной; только испарина эта уж остыла и прокисла. Это не тот прелый запах жилого покоя, который всем известен; а другой, уже успевший сконцентрироваться, прогоркший, страшный запах. Комната не топлена, и ученики сидят кто в чем пришел: в халатах, тулупах, в кацавейках 7, с бабьими котами на ногах, другие даже в лаптях, простуженные, с распухшими лицами и торчащими вихрами. Уныние какое-то на лицах, точно все ждут наказания. В другом классе шла арифметика. Учитель вызвал ученика к доске и задал задачу. Ученик вылез из парты, поклонился учителю, как будто остерегаясь, чтобы тот его пошее не ударил, и поправил себе штаны. Другой ученик подошел к учителю, точно так же поклонился и подал мел. Наконец, в третьем классе, где ученики были уже постарше и относительно лучше одеты, преподавал сам инспектор, молодой человек очень робкого вида. Когда мы вошли в класс, ученики встали и не садились до тех пор, пока им не веле-

ли сесть. Один ученик делал конструкцию 8, а другой, уж не знаю зачем, молча стоял за ним и смотрел в книгу. Поблагодарив инспектора за позволение, мы вышли в коридор; вдруг бежит за нами инспектор.

- Милостивейший государь!..

- Что вам угодно?

- Осмелюсь утруждать вас моей всепокорнейшей просьбою.

- Сделайте одолжение.

- Я имею некоторое дело, о котором желал бы переговорить с вами без свидетелей.

Я записал его адрес и обещал на днях зайти.

ПРИМЕЧАНИЯ к письму третьему

1...из руководства Паульсона... - Паульсон (1825-1898) - русский педагог, методист, автор "Книги для чтения и практических упражнений в русском языке" (1860).

2 Финикияне - жители Финикии, древней страны на восточном побережье Средиземного моря.

3 Аспидная доска - грифельная доска.

4 "Лягушка и вол" (1808) - басня И.А. Крылова.

5 Рекреация - школьная перемена, перерыв между занятиями.

6...перевод из Саллюстия... - Гай Саллюстий Крисп (86 - 35 до н. э.) - древнеримский историк, автор произведений "О заговоре Катилины", "Югуртинская война", "История".

7 Кацавейка - верхняя теплая короткая одежда.

8...один ученик делал конструкцию - в данном случае производил арифметическое сложение.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Общественные заведения

Однако город, несмотря на свою стойкость, начинает сдаваться понемногу. На скрытность, как видно, надежда плоха: нет-нет да и проврешься. И чем дольше я живу здесь, тем чаще представляются случаи видеть, как осташи провираются, а уж на что, кажется, лукавый народ. Сегодня, между прочим, даже без всякого с моей стороны желания, пришлось быть незримым свидетелем одной из тех сцен, которые разыгрываются теперь на разный манер по всему русскому царству. Хотя дело это и не относится прямо к городу, но тем не менее я считаю долгом его сообщить. Рано утром разбудил меня разговор в соседней комнате. Еще сквозь сон слышу, кто-то ругается. Такая досада меня взяла: спать хочется, а не дают! Однако, нечего делать, проснулся, слушаю. Что за черт! Ничего не разберу. Ходит кто-то по комнате и орет: - Ах,

разбойники! Ах, разбойники!.. Уморили!.. Со-
всем уморили!.. Ничего не понимают!.. Ниче-
го... Ах, мошенники!.. Велик оброк!.. А? велик
оброк!.. Ах, мошенники! Да ведь земля-то
моя? Анафемы 1 вы эдакие! А? Моя земля? а?
Моя она, что ли? А? Понимаете вы? Понимае-
те? А? А? А?..

- Это точно, что... - уныло отвечает
несколько голосов, и в это время слышится
скрип мужичьих сапог, происходящий, по
всей вероятности, от переминания с ноги на
ногу.

- Ну, так что же вы? - продолжает тот же го-
лос. - Ну! что же вы? А? А?

- Да мы, Александра Васильич, - мы ничаво,
только что вот...

- Что же "только"-то? А? "Только"- то что
же? Черти! Черти! Что же "только"-то? А?

- Мы про то, что трудновато быдто... - нере-
шительно отвечает мужичий голос.

- Землицы нам еще бы, то есть самую ма-
лость, - робко вступается кто-то.

- Не сподручна она, землица-то эта.

- А- А! Так вам земли еще давай и оброка с
вас не спрашивай! Ах, разбойники! А? Не

сподручна! А? Ах, мошенники! Трудновато! А? Ах, негодяи! Да ведь вы прежде платили же оброк? А? Платили?

- Платить-то мы точно что платили. Платили, Александра Васильич. Это справедливо, что платили. Как не платить, - отвечают все в один голос.

- Мы завсегда... - добавляет еще кто-то.

- И больше платили? А? Платили ведь и больше?

- Больше, Александра Васильич.

- И не жаловались? Нет? Ведь не жаловались? А?

- Что ж жаловаться! Александра Васильич, дело прошлое...

- Мы жаловаться не можем, - опять добавляет кто-то.

- Так что же вы? Что же вы теперь-то? А?

- Мы ничаво, Александра Васильич, - мы только насчет того, что которая земля, то есть, к нам теперича отходит...

- Ну!

- Ну, что, значит, она супротив той-то, прежней-то...

- Ну, ну!

- Скупенька земляца-то эта, - вкрадчиво замечает еще один голос. - Камушек опять... Камушку-то очень уж добре много.

- А вы его вытаскайте, камень.

- Помилуйте, Александра Васильич. Где ж его вытаскать? Ведь он сквозь, все камушек.

- Ну, так навозцу, навозцу подкиньте!

- Позвольте вам доложить, Александра Васильич, - начинает один мужик, выступая.

- Ну, что тебе?

- Сами изволите знать: какой у мужика навоз? Скотинешка опять, какая была, поколемши.

- А- А! ну, так что ж мне делать? Как знаете, так и делайте.

Наступило молчание. Слышно было, что барин ушел в другую комнату, а мужики стали шептаться. Шептались, долго шептались; потом заскрипели сапоги; мужики принялись откашливаться. Постояли, постояли и ушли. Вижу я, что больше ничего, должно быть, не дожدهшься; встал, оделся и вышел на улицу. Куда идти? Утро отличное: свежее, сухое. Озеро чистое и голубое мелькнуло между домов. Лавочник стоит у своих дверей, кланяется.

- С добрым утром!

- Здравствуйте!

В первый раз вижу я этого лавочника.

- Раненько изволили на прогулку выйти.

- Да погода уж очень хороша.

- Погода чудесная. Вон изволите видеть тот берег?

- Да.

- Близко?

- Ну, так что же?

- Погода устоится. Мы вот все по этому замечаем. Как если берег теперича кажет близко, ну и, значит, будет ведро; а коли если ушел берег вдаль и деревья вон того не видно, то и жди мочи.

- Да, это хорошо. До свидания.

- Мое вам почтение-с.

Куда ж идти-то, однако? Да! В библиотеку. Прихожу в библиотеку; маленькая, проходная комната, полки с книгами, газеты на столе; молодой человек стоит за прилавком. Все, как следует, в порядке.

- Вы библиотекарь?

- Нет-с: я помощник.

- Не можете ли вы мне дать чего-нибудь

почитать?

- Что вам угодно?

- У вас есть каталог?

- Есть.

Помощник дал мне каталог, из которого я мог усмотреть, что в библиотеке порядок примерный. Всех книг налицо 1097 названий в 4238 томах. Книги разделены кем-то на 22 отдела, в состав которых вошли книги: богословские, философские, детские, правоведение, политические, свободные художества, увеселения, языкознание, сочинения в прозе и стихах, сочинения просто в стихах, театральные (это особый отдел), романы, повести и сказки (тоже особый отдел).

Я любопытствовал взглянуть, на книги по части увеселений, но, к несчастью, таких в библиотеке не оказалось, и по какому случаю эти увеселения значились в каталоге, узнать я не мог. Зато показали мне "снимок с рукописного реймского евангелия" ("Le texte du sacre de Reims"), полученный в 1850 году от г. министра народного просвещения, и "карту Венгрии", принадлежавшую Гергею 2, командовавшему венгерским войском, в 1848 году;

она была подарена им генералу Беваду, а после смерти последнего продана с аукционного торга и попала к севастопольскому 1-й гильдии купцу Серебряникову, которым и была подарена в осташковскую публичную библиотеку.

Взялся было я за газеты, в надежде, что кто-нибудь придет, но не дождался никого и ушел, попросив помощника библиотекаря сделать для меня выписку о том, какого рода книги больше читаются и кем именно. Из библиотеки я пошел было в думу, но на бульваре встретил Ф[окина], который заходил ко мне и пошел отыскивать меня по городу. Он предложил мне зайти к одному капиталисту-промышленнику, занимающему в думе очень важную должность. Место жительства его отыскать было нетрудно; нужно знать только улицу, а дом и сам найдешь. Улица, где живет капиталист, с самого заворотка, вся сплошь засыпана сажей и углем: и чем дальше идешь, тем гуще становится слой угля, покрывающий землю. Наконец почва до такой степени чернеет, что уж совсем превращается в какие-то угольные копи. По правую руку

идут всё кузницы и кузницы. Тут же в одной из них и капиталист живет; и хотя она отчасти походит на дом, но стены закоптелые и двор весь завален углем. Мы опустились в подземные сени; тут попалась нам какая-то женщина.

- Дома А[лексей] М[ихайлович]? - спросил ее Ф[окин].

Женщина пошла узнать, но сейчас же вернулась, отвела Ф[окина] в угол и стала с ним шептаться; затем опять ушла. Наконец нас пустили. Комнаты низенькие, мрачные; тяжелая старинная мебель; в первой комнате стоит диван. На диване сидит сам хозяин. Когда мы вошли, хозяин встал, поклонился и подал руку. Хозяин мрачно улыбнулся и попросил сесть. Я сел и неловко стукнулся локтем обо что-то твердое, звякнувшее на столе. Тут лежали топоры для морского ведомства. Теперь только я заметил, что в комнате сидит еще одно лицо, - гость, и что мы своим приходом прервали их разговор. Одного взгляда на гостя было достаточно, чтобы напомнить мне знакомый тип петербургского чиновника. Полный, чисто выбритый и остриженный

под гребенку, в форменном вицмундире, сидел он, положив свои круглые и мягкие пальцы на такие же круглые и мягкие коленки. И каково же было мое удивление, когда вдруг оказалось, что это осташковский 3-й гильдии купец, К[озочкин]! Узнав, что он служит в думе, я стал расспрашивать его о городе. На все мои вопросы гость отвечал как-то необыкновенно уклончиво и все больше общими местами, в таком роде, что город благодаря попечениям господина градского головы, Федора Кондратьевича Савина, находится в отличном порядке, храмы божии украшаются, искусства и промыслы процветают и граждане благоденствуют; одним словом, ничего не сказал.

Ф[окин] во все время беспокойно вертелся на своем кресле, барабанил пальцами по столу, безо всякой нужды заглядывал под диван и беспрестанно обращал ободряющие взоры то к хозяину, то к гостю; наконец не вытерпел и сказал:

- А мы к вам, А[лексей] М[ихайлович], на счет одного дельца.

Хозяин мрачно улыбнулся.

- Какое же такое это ваше дело?

Ф[окин] стал подкашливать, подмаргивать и закивал пальцем хозяину в другую комнату. Они вышли. В отворенную дверь слышно было, как Ф[окин] уговаривал его вполголоса:

- Вы не опасайтесь! что ж такое? ну, да. Ваше дело такое. Ну, да.

- Да мне что же? - отвечал капиталист. - Я ничего не боюсь. Мое дело такое.

- Ну, разумеется.

- Понятное дело.

- Да-с; так вот, А[лексей] М[ихайлович], - начал Ф[окин], выходя и указывая на меня, - как они очень любопытны узнать все об нашем городке и как они много наслышаны, то вы им все это, если можно...

- Это ничего, - ответил хозяин, с улыбкою поглядывая на меня.

- Впрочем, ведь все это уж напечатано в отчете министерства.

- Об кузнечиках-то, об кузнечиках. Да, да. Вы расскажите! Ведь это все для славы нашего города. Следственно, можно надеяться? так вы будьте благонадежны! - успокоивал он меня.

Я поблагодарил и тут же кстати обратился с просьбою к служащему в думе гостю. Мне хотелось добыть городской бюджет за минувший год. Гость ответил мне на это, что ведомость о городских доходах и расходах ежегодно представляется куда следует и что если мне это нужно знать, то лучше всего обратиться... То есть обратиться куда следует. Из этого я не замедлил вывести заключение, что с подобными требованиями в ошашковскую городскую думу обращаться не следует; но, несмотря на это, попытался, однако, убедить гостя, что дело это совершенно невинное и что опасаться тут решительно нечего. Гость подумал немного и сказал:

- Это все так-с. Только вот Федор Кондратьич уехали, а то бы они вам все это разъяснили в лучшем виде.

- Так, стало быть, без Федор Кондратьевича ничего сделать нельзя?

- Вот извольте видеть, что-с...

Ф[окин] давно уже, стоя позади меня, делал гостю разные гримасы и заманивал его в другую комнату. Наконец гость это заметил и ушел с ним пошептаться. Через несколько ми-

нут он вернулся и сказал, что может дать мне записку в думу, и там сделают для меня все, что можно. Я взял записку и простился. Ф[окин] пошел со мною.

- Ну, слава богу! - сказал он, когда мы уже были на улице, - дела наши улаживаются понемножку.

Новая роль, которую он взял на себя добровольно, до такой степени занимала его, что он даже начал уж мои дела считать нашими делами.

На дороге попадались нам беспрестанно разные люди и кланялись. Некоторых Ф[окин] останавливал, отводил в сторону и с озабоченным видом сообщал что-то.

- А, а! Да, да, да. Ну, так, так, - отвечали обыкновенно встречные, делали сосредоточенные лица и задумывались.

- Здравствуйте! - здоровался Ф[окин] с каким-то чиновником, идущим к должности.

- Куда это вы? - спросил чиновник.

Ф[окин] нагнулся к воротнику его шинели и шепнул ему, указав на меня глазами.

- Мм! Вот она какая история! - глубокомысленно сказал чиновник.

- Да, - самодовольно заметил Ф[окин]. - Только вот как вы нам посоветуете? Сходить ли нам прежде к Михал Иванычу или уж прямо обратиться к Петру Петровичу? 3

Чиновник задумался.

- Дело мудреное, - проговорил он наконец, - как сами знаете. Мой совет - побывать прежде у Михал Иваныча.

- Ну, вот, вот! И я так же думаю. Да. Так до свидания.

- Мое вам почтение.

Чиновник пристально посмотрел на меня и пошел своей дорогой, в раздумье покачивая головой.

- Что вы беспокоитесь? - сказал я Ф[окину], - Ведь дали же мне записку.

- Дали-то дали. Это, конечно; только, знаете, все бы лучше побывать нам у одного человека.

- Да зачем?

- Эх, какой вы! Да уж положитесь на меня.

- Ну, ведите, куда знаете.

Мы вошли в какой-то грязный переулок, кончавшийся большим вязким болотом. Кособокие домики с прогнившими крышами

окружали его с четырех сторон. Болото это в сущности должно было по плану изображать площадь. По ту сторону болота стоял дом, ничем не отличавшийся от прочих, а в нем жил тот человек, у которого, по мнению Ф[окина], нам необходимо нужно побывать. На дворе накинута на нас собачонка, но Ф[окин] сейчас же заговорил с ней, и она успокоилась. На этот лай вышла кухарка и повела нас в переднюю. Ф[окин] пошел предупредить о моем приходе и вернулся в сопровождении хозяйки дома, очень полной женщины в большом клетчатом платке, которая начала подозрительно осматривать меня с головы до ног. Нужного человека не было дома, а потому мы и отправились прямо в думу. У церкви остановил нас печник:

- П. Г.! Что ж ты? Я тебя, братец мой, дожидался, дожидался, ажно исть захотил, - сказал он моему спутнику.

- Постой! не до тебя. Дела у нас тут пошли такие, спешные.

- Что мне за дело? Я глину замесил.

- Погоди немножко: я сейчас.

- То-то, смотри, проворней справляй де-

ла-то свои! Рожна ли тут еще копать! - кричал нам вслед печник.

- Может быть, я вас отвлекаю от занятий? - спросил я Ф[окина].

- Вы, пожалуйста, не стесняйтесь! Теперь я и один найду дорогу в думу.

- Нет; это ничего. Еще я успею. Тут, видите, печка строится в алтаре, так я взялся показать. Вот он и пристаёт ко мне.

- Так что ж ему дожидаться? Право, вы для меня напрасно беспокоитесь.

- Нет, нет. Я вас одного в думу не пущу. Вы не знаете.

- Ну, как хотите.

Наконец пришли мы в думу. В темной передней встретил нас высокий седой старик в долгополом сюртуке и сердито спросил: "Что надо?" Я показал записку. Старик взял ее, велел мне подождать и ушел куда-то. Ф[окин] сказал мне: "постойте-ка, я тут в одно место сбегая", - и тоже ушел. Я остался в обществе двух мещан, которые, как и я, ждали чего-то и от скуки терлись об стену спиною. Через несколько минут выглянул из двери писец и, внимательно осмотрев меня, сказал:

- Да вы бы сюда вошли.

Я вошел. Писец сел на свое место и начал меня рассматривать. Я смотрел на писца.

- Вы, должно быть, нездешние?

- Нездешний.

- Чем торгуете?

- Я ничем не торгую.

- Прошу покорно садиться.

Я сел. Писец принялся перелистывать бумаги и подправлять буквы, сделав при этом чрезвычайно озабоченный вид. Но по лицу его сейчас же можно было заметить, что его мучит любопытство. И действительно он не выдержал, взялся чинить перо и, рассматривая его на свет, спросил меня равнодушным тоном:

- Вы по каким же, собственно, делам?

Я объяснил, что вот так и так, от К[озочки]на записку принес.

- Мм.

В это время вернулся сердитый старик.

- Отнес записку? - спросил его писец.

- Отнес.

- Ну, что?

- Ничего. А вы зачем на пол плюете? Нет

вам места, окромя полу?

- Ну, ну, не ворчи!

- Чего не ворчи! Ходи тут за вами, убирай.

Старик опять куда-то ушел. Я сидел, сидел, скука меня взяла: нейдет Ф[окин]. В отворенную дверь видно было, как в передней мещане вздыхают, потягиваются и рассматривают свои сапоги. Пришел еще писец и принялся писать. Я отворил дверь в другую комнату; там было присутствие: большой стол, покрытый сукном, зеркало, планы развешаны по стенам. Я вошел в присутствие и стал рассматривать план Осташкова. удивительно правильно выстроен, совершенно так, как строятся военные поселения: всё прямоугольники, улицы прямые, площади квадратные. На столе лежит книга; я посмотрел: "Памятная книжка Тверской губернии за 1861 г. Цена 85 коп."

- Эй! Ступай вон! - вдруг закричал кто-то позади меня.

Я оглянулся: в дверях стоит старик.

- Нешто можно в присутствие ходить?

Я вышел, держа книгу в руках.

- Брось книгу-то, брось! Зачем берешь?

- Я хочу ее купить.

- Купить! Ишь ты, покупатель какой!

Я отдал старику книгу и спросил писца: нельзя ли мне приобрести один экземпляр? Писец сказал, что можно; я отдал ему деньги и потребовал сдачи. Писец взял было трехрублевую бумажку, но другой, вдруг сообразив что-то, вырвал у него деньги и возвратил их мне; потом взял книгу, отвел в сторону первого писца и стал с ним перешептываться; потом позвал старика и послал его куда-то с книгою. Старик заворчал, однако, пошел. Тут же явился Ф[окин].

- Где это вы пропадали?

- Да все хлопотал по нашему делу. Устал до смерти. С этой запиской такая возня была. Ну, да слава богу, уладил. Сейчас секретарь придет.

С книгою тоже началась возня. Старик ходил кого-то спрашивать, можно ли продать. После долгих совещаний наконец решили, что продать книги нельзя, хотя она имелась в числе нескольких экземпляров и назначалась, собственно, для продажи. Вся эта путаница начала меня выводить из терпения.

- Поймите же вы, - убеждал я писца, - поймите же вы, что эту книгу я могу купить везде. Ведь не секрет же это какой-нибудь?

На все мои убеждения писец пожимал плечами и отвечал:

- Это, конечно, так-с. Само собой разумеется.

Тем не менее книги продать не решался. Ф[окин] опять побежал куда-то и вернулся с секретарем, который обещал мне наконец составить выписку из приходо-расходной ведомости и отдал мне книгу, но опять-таки затруднился: взять деньги или нет. Для решения этого вопроса посылали еще куда-то; вышло решение: взять деньги. Я получил книгу и ушел.

- Скажите, пожалуйста, отчего они не хотели продать книгу? - спросил я у Ф[окина], когда мы сходили с лестницы.

- Боятся. Что с ними станешь делать?

- Чего ж они боятся? Разве это что-нибудь запрещенное? Ведь она прислана для продажи.

- Так-то оно так. Да уж у нас порядок такой. Бог его знает! Ведь оно, конечно, пустяки, ну,

а вдруг спросит: "кто смел без моего позволения книгу продать?" Как тогда за это отвечать?.. Так куда же теперь?

- Да мне бы хотелось воспитательный дом посмотреть, только, право, мне совестно, что я отвлекаю вас от занятий.

- Уж вы обо мне не хлопчите. Вот мы как сделаем: сходим теперь в воспитательный дом, а оттуда ко мне обедать.

- Отлично.

Вышли мы на главную улицу, миновали площадь и бульвар. Проехали дрожки с дамою.

- Полковница... - таинственно шепнул мне Ф[окин].

- Какая полковница?

- А наша-то.

- Да, да. Ведь у вас тут полк стоит.

Только в воспитательный дом мы тоже сразу не попали. Зашли мы почему-то в лавку к одному купцу, а оттуда вдруг совершенно неожиданно очутились в какой-то горенке, где застали водку на столе. Я не успел еще опомниться, как уж хозяин, почтенный старец в синем кафтане, стоит передо мною с

подносом и, низко кланяясь, просит откусать. Я в замешательстве выпил рюмку и закусил каким-то мармеладом. Только что я успел прийти в себя, гляжу - хозяин уж опять стоит с подносом и опять просит мадерой. От мадеры я хотя и отделался, но должен был зато рассмотреть коллекцию старинных монет и жетонов, в числе которых находилась и подлинная грамота Дмитрия Донского 4, отлично сохранившаяся, написанная, должно быть, древним алицарином на древней же невской бумаге.

Надо заметить, что страсть к археологии и нумизматике 5 здесь в большом ходу и служит вечным и бесконечным поводом к разного рода препираниям и ссорам. Я рискнул было усумниться в подлинности грамоты, но, заметив на лице хозяина происшедшее от того неудовольствие, замолчал, не желая разрушать заблуждение, на котором только и держится, может быть, все его дряхлое существование. А тут, на мое горе, нашелся добрый человек, который, бог его знает, - из желания ли сделать мне любезность или просто обрадовавшись случаю поспорить, - счел за

нужное меня поддержать и тоже усумниться в подлинности этой несчастной граматы. Хозяин, сделавший мне легкую гримасу, не стал стесняться перед тем гостем и прямо обругал его, приняв недоверчивость за личное для себя оскорбление. Гость ожидал, вероятно, поддержки от меня и затеял спор, просто ради искусства; но, не будучи поощряем мною к продолжению его, умолк и надулся. Хозяин копался в монетах и сердито укладывал их на место, ворча себе под нос:

- Знатоки! Много вы смыслите!.. Как же!.. Ученые!.. - и проч. В этом роде.

Таким образом я невольно внес дух отрицания и раздора в дом почтенного гражданина, который, может быть, и пригласил-то нас, собственно, для того, чтобы мы похвалили его коллекцию. После этого оставалось одно: подмигнуть Ф[окину] и благоразумно удалиться, что я и сделал, разумеется, предварительно поблагодарив хозяина за угощение. Однако совесть меня мучила. Погруженный в сознание только что сделанной ошибки, идя рядом с Ф[окиным], я и не заметил, как мы подошли к воспитательному дому.

- Что же, деточек-то наших посмотреть хотите? - спросил меня мой спутник.

- Ах, да. Пойдемте.

Убежище для сирот и убогих помещается в том же большом каменном доме, где и училище, в доме с красновато-казенной наружностью и огромнейшею золотою вывескою: Дом благотворительных заведений общественного банка Савина.

Мы вошли на двор и поднялись на крыльцо. В сенях встретила нас очень свежая на вид нянька, с кружкою квасу в руках, и дружески сказала моему спутнику:

- А! П. Г.! Что это вас давно не видать? В кои-то веки заходите.

- Вот деточек ваших пришли посмотреть.

- Что ж, милости просим. Пожалуйте. Да что их смотреть? Какие на них узоры?

- А вот господин чиновник желают видеть, - сказал Ф[окин], указывая на меня.

- Что вы, П. Г.? Какой же я чиновник? - воскликнул я с отчаянием; но дело уже было сделано: слово вылетело и произвело свое действие. Нянька вдруг начала прикрывать фартуком кружку, как будто в ней было что-ни-

будь запрещенное; стала обдергивать платок на голове и вообще старалась придать себе наиболее форменный вид. Впустив нас в кухню, она схватила бог знает зачем полотенце и начала смахивать им со стола и утирать носы детям, сидевшим за столом и ковырявшим пальцами кашу. Все эти хлопоты были очень смешны и в то же время обидны, тем более что приготовления к нашему приему совершались тут же, на наших глазах, и уже тогда, когда мы застали няньку, так сказать, на месте преступления. Впрочем, я и не понимаю, из-за чего она хлопотала, потому что преступления-то в сущности никакого не было; только дети, изумленные происшедшей внезапно тревогою, ничего не могли понять и, вытаращив глаза и разинув рты с непрожеванной кашей, в испуге смотрели на нас. Один мальчик с подобранной в виде куртки рубашкою и вымазанным лицом, держа огромную деревянную ложку в руке, поглядел-поглядел, да вдруг как заревет и пополз по лавке, крича и хлопая ложкою. Нянька нашла такой поступок питомца неприличным в присутствии таких почетных посетителей, закричала на

него и унесла в другую комнату. Однако, как ни старалась она показать свое рвение и сгладить по возможности все признаки жизни с семейной картины, которую мы успели захватить, но местный колорит все еще уцелел настолько, что давал совершенно удовлетворительное понятие о патриархальном быте, который, подобно язве, вкрался в заведение помимо воли начальства. Благотворители, как видно, не сообразили, что дети, хотя и незаконнорожденные, ни в каком случае не могут быть рассматриваемы, как медные пуговицы, отлично вычищенные суконкой. В ту минуту, когда мы входили, в кухне за столом сидело трое детей, из которых одна девочка лет 7, другие же только что отнятые от груди. Они, как видно, обедали. Мы застали на столе чашки и горшок с кашею, в котором они копались преспокойно, запустив в нее руки по локоть. У окна сидела другая нянька с маленьким ребенком на руках и, разжевав немного пшенной каши, собиралась отправить ее с помощью пальца ребенку в рот. Мы ее так и застали с разжеванной кашей на пальце. Как ни желал я помешать старшей няньке произ-

вести порядок, как ни торопился заставить ее врасплох, все-таки рвение ее опередило нас, и в следующей комнате мы уже не нашли никаких признаков жизни: тут уже все было готово к нашему приходу; только по заспанным лицам кормилиц и по усиленному их дыханию можно было догадаться о той суворовской тревоге, которая подобно вихрю пронеслась по всему дому и все сгладила, сравняла в мгновение ока. Кроватки с сонными детьми, вытянутые в линию, почтительно стояли в два ряда по обе стороны; кормилицы, подобно ефрейторам, торчали чрез каждые две кроватки и как-то невыразимо странно делали какой-то бабий фронт. До этой минуты я никогда не мог себе представить, чтобы из кормилиц в платках и в ситцевых сарафанах можно было сделать нечто парадное; но я и до сих пор не могу себе представить ничего глупее и нелепее той роли, которую мне пришлось, по милости моего проводника, разыграть перед этим строем детских кроваток, перед этими несчастными детьми, которые и не подозревают, в какой пошлой комедии должны они участвовать с самого почти дня рож-

дения и каким горьким унижением платят они за право жить и есть разжеванную нянькой кашу.

Оскорбленный и сконфуженный, нагнулся я к одной из кроваток, чтобы скрыть таким образом смущение, против воли выступившее у меня на лице, и посмотрел на спящего ребенка. Кормилица удивительно ловко отдернула полог и опять вытянулась, прямо и бодро глядя мне в глаза. Старшая нянька шепталась с Ф[окиным]; я стал прислушиваться: она называла по имени мать этого ребенка. В то же время вошла семилетняя девочка, которую мы видели в кухне, и стала ласкаться к няньке.

- А вот эта у нас дворянка, - сказала нянька, указывая на девочку.

- Так вы барышня? - шутя спросил ее Ф[окин].

Девочка положила палец в рот и спрятала лицо в платье няньки. Нянька вытащила ее за руку и, поставив перед нами, сказала:

- А, дура! Что ж ты прячешься? Слышишь, дядя спрашивает. Говори, кто твоя мать?

Девочка молча вертела угол своего фарту-

ка.

- Ну! Что ж ты?

- Гуфинанка, - шепотом проговорила она и опять спряталась за няньку.

- Губернанка, - пояснила нянька, - а отец у ней помещик... такой-то (она назвала фамилию).

Из воспитательного отделения прошли мы в странноприимное, где застали уже все в отменном порядке. В первой комнате вскочили перед нами какие-то увечные старики в серых халатах и с тупым изумлением поглядели на нас; в другой, очень большой и светлой комнате с лакированным полом и портретом коммерции советника Савина в великолепной раме мы нашли с десяток кроватей удовлетворительно казенной наружности, со стоящими подле них тоже достаточно убогими старухами с чулками в руках, которые попытались было в свою очередь отдать нам подобающую честь, но я от этой чести успел вовремя ускользнуть. Все это, бог знает почему, было мне до такой степени противно, что я почти выбежал из дома благотворительных заведений и тут только вздохнул свободнее.

Того, что я видел и слышал в этот день, было для меня слишком много, и потому, положив руку на сердце, я счел себя в праве пообедать.

Ф[окин] опять окормил меня какими-то рижскими пирогами и, кроме того, угостил меня великолепною коллекциею разного рода гравюр, относящихся до его специальности; коллекциею, состоящею из огромного собрания фресков, орнаментов и множества архитектурных рисунков, скопленных им в продолжение многих лет. После обеда повел он меня в мастерскую, где я наглядным образом мог убедиться в том, что у этого человека бездна вкуса и удивительно разнообразные способности. Я видел несколько моделей иконостасов его собственного сочинения, и особенно понравились мне чрезвычайно простые, но в то же время необыкновенно легкие и художественные изделия по этой части для сельских церквей.

После чаю ушел я домой, то есть на постоянный двор. Только что успел отворить дверь, слышу, - опять за стеной та же история, как и утром, и опять те же вопли; мужики по-прежнему ничего не понимают, помещик по-преж-

нему орет: "Ах, губители! Уморили... А? Ах, губители!.."

За стеной происходит так называемое добровольное соглашение. Помещик старается, как слышно, во что бы то ни стало растолковать мужикам необходимость выкупа и для этого решил прибегнуть даже к наглядному способу, каким учат детей арифметике.

- Антон! - кричит измученный и уже отчасти охрипший помещик, - Антон! Поди сюда! Сюда, ближе к столу. Да чего ты, братец, боишься?

Слышен скрип мужичьих сапогов.

- Давай сюда руки! Что ж ты? Давай же! Я ведь не откушу. Где твоя шапка?

Мужичий голос говорит шепотом:

- Матвей! Давай свою! Вот, Лександра Васильич эта шапочка будет превосходнее. Извольте получить.

- Все равно. Ну, да хорошо. Давай ее сюда. Теперь, Антон, держи эту шапку крепче.

Мужик вздыхает.

- Представь себе, что эта шапка - земля! - понял?

- Тэкс-с.

- Эта шапка - моя земля, и я тебе эту землю отдал в пользование. Понял?

- Слушаю-с.

- Нет, не так. Постой! я возьму шапку. Представь, что тебе нужна земля, то есть эта шапка! Ведь она тебе нужна?

- Чего-с?

- Дурак! Я тебя спрашиваю: нужна тебе шапка или нет? Можешь ты без нее обойтись?

- Слушаю-с.

- Ах, разбойник! Да ведь я тебе ничего не приказываю, глупый ты человек! Я тебя спрашиваю: чья это шапка?

- Матюшкина.

- Ну, хорошо. Ну, положим, что матюшкина, но ты представь себе, что эта шапка моя.

- Это как вам будет угодно.

- Дура-черт! Мне ничего не угодно. Я тебе говорю, представь только.

- Я приставлю-с.

- Ну, теперь бери у меня шапку. Ну, бери, бери! Ничего, ничего, не бойся! бери! что ж ты?

Мужик не отвечает.

- Что ж ты не берешь?

Молчание.

- Губитель ты мой! Я тебя спрашиваю: что ж ты не берешь? А? А? А?

- Да коли ежели милость ваша будет...

- Фу, ты, господи! Ах, разбойники! Умори-ли! Ничего, ничего не понимают! - завопил опять помещик и начал ходить по комнате.

Несколько минут продолжалось молчание, наконец один из мужиков спросил:

- Александра Васильич!

- Ну, что тебе?

- Позвольте выйти на двор!

- Зачем?

- Очень возопрели.

- Ступай.

Немного погодя попросился и другой. Я отворил немного дверь в сени и стал слушать.

- Ну как же теперь это дело понять? - шепотом спрашивал один у другого.

- Известно, жилит. Прямо, то есть, сказать не может, потому воли ему теперь такой нет; ну, он, братец мой, и хочет, значит, чтобы, то есть, обманом. Слышал про шапки-то?..

- Да. Что такое? Не пойму я никак, что это

он про шапки-то?

- Эво-ся! Рожна ли тут не понять? Вот сейчас отберу, говорит, у вас шапки и до тех пор не отдам, поколе, то есть, не будете согласны.

- Ишь ты ведь, черт! Да. А я так думал, что это он пример только делает. Ах, волки тя ешь! Матюшкина-то шапка, значит, аминь. Новая... Ну, хорошо, парень, я свою не дал! Ровно мне кто в уши шептал: "Не давай, мол, пути не будет!" А твоя здесь?

- Вот она!

- Так что ж ты? Давай убежим! Я теперь так запалю: на лошади не догнать.

- Ой ли?

- Да ей-богу!

- Валяй!..

- Что вы там долго прохлаждаетесь? - отворив дверь, закричал вдруг помещик.

Мужики вошли в комнату, и опять начались разговоры в том же роде. Я слушал, слушал и наконец заснул.

Примечания к письму четвертому

1 Анафема - здесь: брань, проклятие.

2 Гергей Артур (1818-1916) - командующий армией во время венгерской революции 1848-1849.

3 Имена эти вымышленные. (Примеч. В.А. Слепцова.)

4 "...подлинная грамота Дмитрия Донского". - О "подлинности" грамоты В.А. Слепцов говорит иронически. Ведь краска алицарин (ализарин), которой написана эта осташковская грамота, стала применяться только в XIX веке.

5 Нумизматика - наука, изучающая историю монет и их чеканки.

ПИСЬМО ПЯТОЕ

Знакомства

После всех моих бесплодных хождений по празного рода присутственным местам и прочим общественным заведениям с более или менее казенной обстановкою я наконец догадался, что, идя этой дорогой, я ровно ничего не узнаю; что с этой стороны город достаточно укреплен и почти неприступен; что официальная ложь стоит при входе и не допускает любопытного проникнуть в тайную мастерскую осторожного механика. Соображая это, я нечаянно напал, хотя и на самый битый, но зато и самый верный путь, и именно: шляться по домам и просто слушать все, что ни попало. Для приезжего человека, непричастного местным интересам, даже сплетни и всякого рода самая пустая болтовня имеют огромную цену, особенно если умешь обращаться с этим материалом. Как, по видимому, ни ничтожны эти данные, но я

убежден, что они только так кажутся ничтожными на первый взгляд. Согласитесь, что осташковские сплетни, например, - имеющие, разумеется, все-таки более или менее серьезный характер, - способны созреть только на местной, только на осташковской почве и, следовательно, должны неминуемо заключать в себе соки породившей их среды, должны отражать в себе местный взгляд, местные интересы. Что же касается неизбежного в этом случае преувеличения и даже искажения фактов, то я убедился, что при внимательном сличении нескольких экземпляров все лишнее, нехарактерное слетает, подобно шелухе, и в результате остается все-таки голая истина.

В продолжение трех дней пришлось мне познакомиться с несколькими промышленниками средней руки. Все мои визиты к этим так называемым гражданам удивительно похожи друг на друга. Мне случилось как-то в один день быть в трех домах, и эти три дома до такой степени ничем почти не отличаются один от другого, что после, дня два спустя, мне нужно было ужасно напрягать память и

воображение, чтобы дать себе отчет: в каком доме и что именно я видел и слышал. Даже расположение комнат и вся внутренняя обстановка домов чрезвычайно однообразны. В передней непременно темно и пахнет шубами, в зале чистый, крашеный пол, жиденькие стульчики под орех, два ломберных стола красного дерева, на которых стоят по два подсвечника аплике 1. В гостиной кожаный диван, такие же кресла, бисерный поддонник на круглом столе с одной качающейся ножкой; иной раз портрет какой-нибудь на стене; чаще изображение Нила преподобного, стоящего на воде, с виднеющеюся позади его пщстынью. Из гостиной дверь куда-то, вероятно в детскую, потому что оттуда всегда тоже выходит какой-то кислотовато прелый запах молочной каши. Из этой же двери время от времени выглядывают, точно зверьки, два, а иногда и четыре маленькие глаза и долго с пугливым любопытством рассматривают гостя; и во все это время слышится за дверьми торопливый шепот, отпирание комода и сдержанные восклицания: "Гость, гость". Затем отворяется заветная дверь, и хозяин, большею ча-

стию человек средних лет, в долгополом сюртуке, с бритым подбородком и недоумевающим лицом, покорнейше просит садиться. Через пять минут на круглом столе вместо бисерного поддонника является мадера, мармелад, а иногда и просто водка с солеными огурцами.

И говорить нечего, что все эти люди - народ чрезвычайно общительный и гостеприимный, но, разумеется, в том только случае, если гость может представить более или менее благонадежную рекомендацию. Зная это условие, я запасался всякий раз проводником из тех граждан, который мог бы поручиться, что я не шпион. А заручившись таким проводником, я уже мог проникнуть всюду. И что это за милый народ, эти граждане! Куда вдруг девается у них и эта мнительность и это тупое сосредоточенное пересыпание из пустого в порожнее? Мрачный, неразговорчивый на первый взгляд человек вдруг оказывается необыкновенно любезным, откровенным и чистосердечнейшим малым, готовым рассказать всю подноготную с той самой минуты, как только убедится вполне, что вы нигде не

служите и с городскими властями не имеете ничего общего. Но замечательно, что пока говоришь с ними о промышленности или просто болтаешь о разных мелких предметах, все идет хорошо; но как только сведешь речь на городское управление, на достоинства и недостатки их общественной жизни, так в то же мгновение человек как-то свихивается и начинает молоть бог знает что.

Осташков и его учреждения - это для них какой-то пункт помешательства. Только что весело и даже остроумно говоривший о всякой всячине человек при одном имени Осташкова сейчас задумывается, начинает смотреть куда-то вбок и потом вдруг ударяется в безобразнейшее и пошлейшее хвастовство своим городом и его заведениями: певчими, бульваром и проч., или впадает в желчное расположение духа и с злобным, ядовитым смехом начинает беспощадно язвить свой родимый город. Я старался замечать: чем, собственно, они хвастаются и что бранят? И заметил следующее. Хвалится осташ своим озером, паникадилами, рыбою, танцами и павильонами. Чем-нибудь, да уж непре-

менно хвалится: это здесь какая-то повальная болезнь. Кто поразвитее, те обращают ваше внимание на банк, библиотеку, театр и кринолины, указывая в особенности на последние (т.е. театр и кринолины) как на самые очевидные и несомненные признаки той высокой степени цивилизации, на которой стоит Осташков. Хвалится осташ своим городом больше по привычке хвалиться, потому что похвальбу своим городом он с детства привык считать своей священной обязанностью и знает, что все его хвалят. Ругается же он или вследствие скептического мирозерцания, привитого ему долгими странствиями по чужим городам, или потому, что уж очень допекут его разные удобства и общественные учреждения; но это бывает редко; чаще всего ругается осташ в тех случаях, когда бывает оскорблен и мелкое самолюбьишко его уязвлено каким-нибудь мелким случаем. Что касается хвастовства, то мне особенно бросилось в глаза вот какое обстоятельство. Общественная пожарная команда, как известно, составляет справедливую гордость Осташкова, но замечательно, что хвастаются ею только

люди, по своему положению не обязанные принимать участие в тушении пожаров, то есть служащие и вообще достаточные люди. От тех же, которые составляют пожарную команду, я не только не слышал похвальбы, но даже просто не мог добиться толком: каким способом производится это тушение. Я не знаю, отчего это делалось? Оттого ли, что я не умел спросить, или оттого, что эти люди до такой степени привыкли смотреть на свои общественные обязанности как на дело очень обыкновенное, что даже ни разу не потрудились дать себе отчет, как это делается. Мне второе кажется более вероятным потому, что и в других подобных случаях я замечал то же самое. Так, например, сапожники умели отлично рассказать мне все, что касается танцев или павильонов, но я никак не мог узнать от них: каким порядком попадают они в кабалу к своим хозяевам-капиталистам; и узнал это уж от посторонних людей, вовсе не занимающихся сапожным мастерством. Точно такая же история и с банком; например, люди, не имевшие надобности прибегать к его помощи, хвастаются им напропалую: у

нас-де банк, у нас 200 тысяч!.. Тот же, кто отнес туда последнюю ризу с родительского благословения, ничего о пользе банка сказать не может: или просто молчит, или замечает: "Да, оно хорошо; когда деньги нужны, отнес вещь и сейчас денег дают". О разорительных для города свойствах банка узнал я тоже от посторонних людей, никогда не имевших в нем нужды.

Что же касается недовольных, то надо признаться, что их тоже не мало в Осташкове. Их тоже, как и хвастунов, можно разделить на два разряда. Примется, бывало, кто-нибудь ругать город; ну, я, разумеется, и слушаю: на что он станет налегать. При этом я заметил, что из недовольных люди, не страдающие от существующих в городе порядков, являются большею частью самыми толковыми ругателями и всегда могут представить очень основательные причины своего недовольства, хотя обвинения их и выходят всегда более или менее желчны и насмешливы. Но есть другой разряд ругателей: это люди с уязвленным самолюбием, люди, кем-нибудь задетые, обиденные какими-нибудь милостями и вслед-

ствие этого одержимые завистью. Эти обыкновенно ругают все наповал, все, что касается их самих. Но ругательства и нападки их отличаются в то же время удивительною односторонностью и узостью взгляда, так что, послушав их раза три-четыре, можно всегда более или менее верно определить: кем и чем они недовольны; и всегда оказывается, что причина их недовольства в сущности какой-нибудь вздор, а до сограждан им нет никакого дела. Зато люди, действительно потерпевшие и постоянно терпящие, обыкновенно тупо молчат и, поняв безвыходность своего положения, признают его даже законным и необходимым для славы своего родного города.

На днях познакомился я с одним рыбаком. Случилось это следующим образом: на той неделе, часов в 10 утра, по заведенному мною обычаю, не дождавшись Ф[окина], прихожу я к нему; вижу, он собирается.

- Куда вы?

- К одному гражданину в гости. Пойдемте со мною.

- Как же я пойду? ведь я с ним не знаком.

- Ну, так что же? - познакомитесь.

- А и то правда.

Пошли. Рыбак, как и следует рыбаку, живет у самого почти озера, в грязной прибрежной улице, в беленьком каменном домике с высокими воротами на старинный манер. Гражданин рыбак, к которому мы отправились, - один из крупных промышленников и ведет большую торговлю соленой и вяленой рыбою; кроме того, занимается изготовлением рыболовных снарядов на продажу. Встретил он нас в халате и повел в залу.

- Прошу покорно садиться. Ф[окин] сделал обо мне свою обычную рекомендацию.

- Как они очень любопытны и проч., - и сейчас же прибавил:

- Ты им насчет рыбки-то порасскажи. Кто же и может разъяснить это дело, кроме тебя?

Хозяин задумался.

- Да, уж разумеется, кроме меня разъяснить этого дела некому, - сказал он наконец, обращаясь к Ф[окину].

- Еще бы. Ведь ты у нас... Известно...

- Так, так, так, так. Что и говорить. Все дело в наших руках. Ну, как же теперь? С чего же начинать?

- Уж это как сам знаешь.

- Так, так, так. Знаю, знаю. Я и начать-то с чего знаю.

- Мне тебя не учить.

- Так, так. Где тебе меня учить? Да. Знаю, знаю, - говорил он, как бы соображая что-то.

- Да не прикажете ли кофею? А то, может, водочки не угодно ли?

- Какая теперь водка? Что ты? Давай нам кофею.

- Это можно. Велим кофей заварить.

Он вышел.

- Скажите, пожалуйста, - спросил я между тем у Ф[окина], - Отчего же этот не ломается и не скрытничает?

- Уж такой человек, - отвечал Ф[окин]. - Характер имеет легкий и никого не боится.

Через несколько минут вернулся хозяин, говоря:

- А я, брат, признаться, хотел то железо купить - суксионное; только вижу я, что купить его значит, врага себе нажить. Пусть пропадает.

- Да и я ходил, видел: лежит железо, а купить нельзя. Бог с ним. А ведь дешево.

- Еще бы. Потому-то мы и не можем его купить, что уж очень оно дешево. Это, брат, не нам, не нам, а имени твоему.

- Ну, да что об этом толковать, - сказал Ф[окин]. - Ты лучше про дело-то нам.

- Про какое дело?

- Да зачем мы пришли?..

- Зачем вы пришли?

- Ах, чудак! А о рыбе-то?

- О! да что ж об ней рассказывать? Известно, рыба. Вот ежели солить, это другой расчет. Сейчас заготовим посуду, рассол сделаем и солим. Такие мастера у нас есть.

Хозяин, видимо, не знал, с чего начать.

- Ну, а сушить? - спросил его Ф[окин].

- Сушить? Сушить, я тебе скажу, тоже надо умеючи. Ежели теперь ты не досушишь, а как, значит, свалил ты ее в ворох, то она сейчас должна паром изойти.

Мы все трое затруднялись. Он не знал, что нам нужно, а мы не знали, как спросить, и потому все трое замолчали, томительно ожидая чего-то друг от друга.

- И опять-таки, - начал снова хозяин, по-прежнему обращаясь к Ф[окину], - опять-таки

и сушить без соли нельзя, - сгноишь.

- Ну, это так, - сказал Ф[окин],

- А как же теперь это?

- Что?

- Как ее ловить - рыбу?

- Ну, и ловить можно всячески. Какая рыба? На всякую рыбу свой особый припас. Поэтому нам без припасу никак невозможно.

Мы опять затруднились.

Ф[окин] посмотрел на меня, желая, вероятно, спросить: "Какую же рыбу тебе нужно?" Я вдруг догадался об этом, и в голове у меня завертелись слова: "Какую рыбу? Никакой мне рыбы не нужно". Хозяин тоже смотрел на меня, ожидая вопроса. Я сделал над собою усилие и совершенно неожиданно для самого себя спросил:

- Какие же у вас припасы? Сделав этот вопрос наобум, я нечаянно попал в точку. Хозяин сейчас же оживился и начал:

- Невода есть, сшивка есть, одинок плавной, летний; одинок снетковый, в полторы сети; тянем бойчее и пужаем. Мережи межточные, 2 о двух крыльях и о трех крыльях, глядя по месту; бывают о двух горлах и о трех гор-

лах; мережа хвоевая, то бескрылая, ставим для плотвы и уклей, во время нароста между свежей ели; ну, еще редуха, для крупной рыбы; норот, без крыльев, плетется из прутьев; обор, обереж, у берега, значит, пужаем болтком. Ну, вот я вам все сказал, что же еще? Спрашивайте!

Я подумал-подумал и опять спросил на удачу:

- Где вы берете невода?

- Гм. Невода нам брать негде. Невода и всякий припас мы сами сряжаем. Вяжут сети в уезде мелкими частями и разной длины, а сшиваем и смолим уж мы сами. Вот я вам как скажу: есть у нас такая книга. Нужен вам теперь хоть бы, к примеру, невод; вот вы и пишете мне: так и так, чтобы, значит, изготовить невод - такой длины, такой ширины! И мы ту ж минуту в книгу все это и вносим. И уж что там написано, то верно. Через десять лет, через двадцать лет, а уж вы получите свое. Я вам ее покажу.

Хозяин вышел, а нам между тем принесли кофе. Через несколько минут он вернулся, неся записную книгу и еще какой-то большой

сверток бумаги, и сказал:

- А вот я захватил кстати показать вам одну вещицу.

С этими словами он положил на стол сверток и открыл его. На столе вдруг очутилось несколько сот штук серебряных и медных монет и жетонов.

- Ах, я и забыл совсем о них, - сказал Ф[окин], - Показывай! Показывай!

Я стал рассматривать монеты, что доставило хозяину видимое удовольствие, и хотя я в них ровно ничего не смыслил, однако внимательно разбирал подписи вроде: денга, мон, рубль - и даже почему-то счел нужным похвалить их. Хозяин совсем забыл о книге, верней которой, по его словам, быть ничего не может, и, увлекаясь все более и более, начал уж рассказывать мне разные, по его мнению, любопытные подробности о том, как ему досталась та или другая монета; и сожалел только о том, что у него не хватало экземпляра времен Иоанна I.

- Ну, это все хорошо, - сказал наконец Ф[окин], когда ему надоело рассматривать монеты, - ты нам о рыбке-то порасскажи, а

мы слушаем.

- Можно и о рыбке, - самодовольно сказал хозяин, усаживаясь на диван. - Рыбка-то, она, я вам скажу, вот какая вещь. Самое пустое дело.

Мы принялись слушать. Хозяин помолчал немного и продолжал:

- Будем так говорить. Кто ее не знает - рыбу? Что такое есть рыба? Ну, однако, мудреней этого дела нет. Теперь хоть бы вас взять. Спрошу я вас: где рыба живет? В воде. Так. Карась в воде, налим в воде, уклея там, что ли, опять-таки в воде. Верно. Так, стало быть, все они там в куче сбимши и лежат? Понадобился мне ну хоть налим; сейчас закинул я в воду припас и тащи? Так, что ли? По-вашему, так, а я скажу, что нашему брату за это следует в глаза наплевать. Потому какой я рыбак, когда я не знаю, где какая рыба живет, в какую пору, в какую погоду, в каком месте жительство свое имеет и какое такое имеет себе продовольствие?.. Все это я должен знать, как отчет, и ошибиться ни под каким видом не могу. Опять, какая рыба строга и пужлива? Какая глупа? Какая прожора? И это должен я знать.

теперь вот, к примеру, надобен мне ерш. Хорошо. Знаю я: ходит ерш поверху, мошкой питается, комарём. Сейчас я разлячил частицу, 3 - опустил на самое дно, потянул ее кверху, - нет ничего. Что за оказия?.. Опять опустил, потянул, - опять нет. Худо. Как быть? Коли нет, стало быть, и искать его тут - в пустяках время проводить. Ну, нет, погоди! я рассуждаю об этом деле не так. Погляжу я на нёбушко, попытаю: откуда ветерок? А и того лучше, навязал на палку конопли; сейчас мне и видно: вон он куда потянул! Гребни к берегу! Там под бережком, под кустиком, в затишье комара ветром страсть что нанесло. Рябью да холодом сбило его в кучу, и лететь ему некуда. Стой! Вот он где ерш! Ну, это летняя пора. Летом пища у ней была скоромная: червяка, мошки всякой вволю. Лепесток она весной гложет, а летом травки там какой-нибудь и даром не надо. Ходит рыбка поверху, цельное лето шутя живет. А осень пришла, и совсем рыба стала не та. Пришло, видно, и ей поститься. Ни комаря, ни мухи и в заводе нет. Стужа пошла, ветра пали крепкие. Но и в эту пору все еще ей не так трудно, потому как

зерна всякого много ветром наносит. Ну, все уж не летняя пицца. Совсем другой расчет. И бойкости в ней этой уж нет: ходит как сонная, нехотя зернышки клюет. Выйдет, выйдет наверх, сиверкой-то 4 ее хватит и сейчас опять вниз. А зима пришла, пала рыба на самое дно. Да. Ах, кофей-то я и забыл. Еще по чашечке?

- Нет, благодарю покорно.

Ф[окин] сидел рядом со мной на диване и заслушался.

- Ишь ты как расписывает! - сказал он наконец, - В какой это ты книжке вычитал?

- Эта книжка, брат, мудреная, - я тебе скажу. По ней учиться надо много мочиться. Вон оно, - озеро-то! книга любопытная и рассудку требует не мало. Селигер называется. А вот про книжку-то ты мне напомнил. Что я в сочинении Карамзина 5 вычитал? Ну, я так считаю, ошибка там у него есть.

- Какая ошибка? - спросил Ф[окин] и так удивился, как будто его это ужасно поразило, что у Карамзина ошибка нашлась.

- А вот какая. Сказано у него: Литва воевала Серегер. Смотри: степенная книга, часть вторая, страница... Страницу забыл. Хорошо.

Серегер - это озеро. Теперь спрашивается: как его можно воевать - озеро? Понятное дело, что воду воевать нельзя. Вот я и рассуждаю, что, значит город был, или жители, то есть, по озеру.

- Да, - подтвердил рассеянно Ф[окин].

- Так ведь?

- Так, так.

- Ну, и сейчас это пишет Карамзин... Вот, постойте, я принесу книгу. По книге это дело видней будет.

Он пошел за книгою.

- А не пора ли нам? - спросил меня Ф[окин], по-видимому, уже начинавший скучать. Но хозяин уже нес Карамзина и, помуслив палец, смотрел в книгу, говоря про себя:

- У меня тут это место заложено. Где оно? Шут его возьми совсем! да. Примечание второе, страница четыреста девяносто четвертая. Вот, вот: "В тысяча двести шестнадцатом году сам князь новгородский, Мстислав Мстиславич, шел с войском на зятя своего Ярослава Всеволодовича новоторжского..." Постой! Постой! Нет, не здесь. Том пятый, страница четыреста сорок четвертая. - Нет,

ты послушай, любопытная, брат, вещь. Собираюсь я об этом написать, да все некогда. Вот оно! Послушай-ка!

"В исходе четырнадцатого столетия великий князь Василий Дмитриевич, из Кличенской волости..." - слышишь? Из Кличенской волости... Вот ведь это истинная правда. "Дал в Симоновский монастырь, с некоторыми деревнями, озерами и угодиями, слободку Рожок, что после был монастырь". Это тоже справедливо сказано: "Деревнями, озерами и угодиями". Рожок-то ведь и теперь существует, но только не слобода, а погост.

- Это так, - подтвердил Ф[окин], задумываясь все больше и больше и отыскивая глазами картуз.

Хозяин прочел еще несколько мест из Истории государства российского, но я все-таки никак не мог понять: в чем, собственно, заключается ошибка Карамзина. Дело шло, разумеется, об Осташкове. Наконец Ф[окин] остановил хозяина, сказав ему:

- А вот что я тебе скажу.

- Что?

- Мы лучше в другой раз придем. Ты нам

тогда это все разъяснишь. Теперь нам некогда.

- Ну, хорошо, - с неудовольствием сказал хозяин, прерванный на самом интересном месте, - так когда же вы зайдете? Я вам это все докажу. Такая мне досада! Читал, читал, - все хорошо; вдруг, - ах, ты, пропасть! Ошибка!.. - говорил он, хлопнув рукою по книге. - Очевидная ошибка! да вот вам еще доказательство! - И, помуслив палец, он уж замахнулся было им, чтобы отыскать эту самую убедительную страницу, но Ф[окин] поскорее надел калоши и закричал:

- Прощай, прощай, брат. В другой раз.

- Ну, так до свидания. Будьте знакомы!

На другой день после визита к рыбаку я ездил в Нилову пустынь и чуть было не утонул. Случилось это, то есть собрался я, совершенно неожиданно. Началось с того, что сижу я в своей комнате и думаю: "Куда бы мне пойти?" Вдруг вбегают Нил Алексеевич, би говорит:

- Ваше благородие, позвольте вас побеспокоить?

- Что вам нужно?

- Не будет ли у вас на рубль мелочи: с по-

стояльцем нужно расчесться.

- Нету. Четвертак есть.

- Ну, так позвольте хоть четвертак. Рубля я ему не дал потому, что на другой день по приезде моем в Осташков он сделал со мной точно такую же штуку, и потом сестры его, хозяйки постоялого двора, убедительно просили не давать ему денег. И эту хитрость он употреблял со всеми почти неопытными постояльцами: вдруг прибежит с озабоченным видом, возьмет на рубль мелочи и потом пропадет дня на два. А тут же кстати капустный сезон подоспел: бабы и девки собираются друг у друга капусту рубить, песни поют, а кавалеры посылают за водкой и устраивают угощения. Я знал очень хорошо, на что Нилу Алексеевичу понадобилась мелочь, и, по поводу капусты вспомнив об увеселениях, спросил его: "Есть ли в городе трактир?" Оказалось, что есть один, но только господа там не бывают. Потому-то я туда и отправился немедленно. Это было около шести часов вечера, на улицах тьма непроглядная, только в булочной на окне горит сальный огарок и освещает связку баранок, да сквозь закоптелую дверь кабака

видны какие-то тени, слышны голоса: не то песни поют, не то ругаются. Отыскать трактир вечером было довольно трудно: на улицах ни души, спросить не у кого; ходил-ходил я и наконец отыскал дверь, ведущую куда-то во мрак. В этом мраке виднелся где-то вдали погасавший ночник. Я пошел прямо на него и наткнулся на собаку. Собака заворчала и отошла в сторону. Ощупью взобрался я на лестницу и стал шарить по стенам. Слышу где-то близко голоса, а никак не могу понять, - где они. Шарил я тут долго, наконец это мне надоело, и я стал кричать: "Отоприте!" На голос мой отворилась дверь, и половой со свечой в руке, прищуриваясь и всматриваясь в меня, сказал:

- Что ты? Очумел, что ли? Двери не найдешь? Иди скорей!

Я вошел и в первой же комнате увидел такую сцену: за прилавком стоит гражданин лет пятидесяти в волчьей шубе, с трубкой в руке, пьяный, и придирается к девице, тоже порядочно выпившей и сидящей на столе. Она болтает ногами и ругает гражданина самым неприличным образом. Буфетчик моет

чашки и в то же время принимает живейшее участие в ссоре, покрикивая время от времени:

- Ишь ты ведь шкура какая! упрямая, дьявол! Пашка! А, волки ты ешь! Не хочет гостя уважить.

Позади гостя стоит половой, высокий и краснощекий малый, в долгополом сюртуке, и в валеных сапогах, и, держа в одной руке графин с водкой, а в другой рюмку, равнодушно смотрит на ссорящихся. Тут же у прилавка стоит небольшого роста полицейский служащий в коротеньком полушубке и, закинув одну ногу на другую, поигрывает втихомолку на гармонии. У кухонной двери виден прислонившийся к притолоке повар с бородой и трубочкой в зубах. Позади повара в кухне уныло шипит куб. Из другой комнаты слышны звуки шарманки.

В зале, освещенной одной сальной свечкой, я застал за шарманкой ямщика. В углу молодой чиновник, с красным шарфом на шее, пил пунш. Так как в трактире было довольно холодно, то все сидели, в чем пришли. Половой предложил мне пройти в особую

комнату, но так как там никого не было, кроме необыкновенно жирной голой женщины в сладострастной позе, написанной масляными красками, то я и предпочел остаться в зале, где была шарманка, и спросил чаю.

Ямщик между тем проиграл: "Уж как веет ветерок" - и стал налаживать другую песню; но что-то у него все не клеилось. сходил он за свечкой; поковырял, поковырял в шарманке, завертел: опять все то же. Ямщик плюнул и стал кричать полового. Вместо него пришел пьяный гражданин с девицею, все еще не перестававшей ругаться; за ними следом шел половой с графином и, равнодушно посматривая на нас, пел какую-то песню. Немного погодя пришел и полицейский служитель с гармониею и, наигрывая на ней, припевал:

Уж ты, шуточка - Машуточка моя...

Пьяный гражданин остановился посреди комнаты и подбоченился. Из-под расстегнутого жилета его торчали выбившиеся углы ситцевой манишки, шуба сваливалась с плеч. Он нерешительно посмотрел на всех своими красными глазами, не зная, к кому бы обратиться, и только морщил брови и сопел; на-

конец сказал: "ёрники вы, ёрники!" - и, вспомнив о водке, велел налить себе рюмку. Половой налил и, заткнув пальцем графин, запел басом:

Уж вы, горы, горы крутые!..

Девушка между тем под села к столу против чиновника и стала делать ему глазки. Чиновник робко посматривал то на нее, то на пьяного гражданина и дул в стакан. Ямщик, потеряв терпение, вдруг опять заиграл: "веет ветерок", а полицейский служитель пустился плясать, подыгрывая и приговаривая:

Уж ты, шуточка - Машуточка моя...

Служителю, должно быть, ужасно хотелось чем-нибудь поразвлечься, и он несколько раз пробовал развеселиться, но все у него как-то не выходило: засеменит, засеменит ногами, захочет выкинуть штучку помолодцеватее и тут же запнется.

Гражданину, однако, эта веселость не понравилась, и он сейчас же поймал развеселившегося служителя за шиворот, крича:

- Пошел вон! Я тебе не велю здесь быть.

Служитель попробовал было обидеться: поправил галстух, отошел к стороне и надул-

ся; а через несколько минут забыл оскорбление и опять стал наигрывать, но, не решаясь плясать, только притопывал ногой.

Гражданин, справившись с солдатом, обратился опять к девице и, видя, что она кокетничает с чиновником, потребовал, чтобы она бросила его и полюбила его, гражданина. Девица между тем имела явное намерение сесть к чиновнику на колени, чего, впрочем, чиновник, кажется, и сам не желал, опасаясь гражданина, который уже стоял за его стулом и, размахивая чубуком над головою чиновника, кричал через него девице:

- Я тебе говорю, иди сюда!

- Поди ты к черту! Пьяная твоя рожа, - отвечала девица, - ну, что ты со мной сделаешь? Ну?

Гражданин замолчал, соображая, вероятно, что бы ему сделать с девицею, да так и задумался с трубкой в руке, глядя на огонь. он, по-видимому, решительно не знал, за что взяться. И вдруг стало тихо. Среди этой тишины только слышно было гнусливое гудение гармонии, да полицейский служитель, стоя у двери, вполголоса припевал свою шуточку -

Машуточку. В зале было темно и холодно; буфетчик в первой комнате уж ложился спать и, сидя на прилавке, стаскивал с ноги сапог, кряхтя и говоря про себя:

- А, варвар, не лезет.

Ямщик, наигравшись досыта, взялся делать себе папиросу. он подошел поближе к моей свечке и вытащил из кармана щепоть табаку, превратившегося в какой-то зеленый песок. Насыпая табак в бумажную трубочку, он сбоку заглянул мне в лицо и улыбнулся, лукаво подмигнув мне на гражданина. Не знаю почему, но мне стало от этого как-то ужасно неловко, такая тоска меня взяла...

- И ничего вы, горы, не поро-одили... - запел половой, стоя с графином среди комнаты.

Под тяжелым влиянием всего, что происходило передо мною, я задумался бог знает о чем. Взглянул я на них, и мне вдруг показалось, что всех их томит страшная, гнетущая, безвыходная скука...

- Милостивый государь, позвольте у вас папиросочку попросить! - сказал у меня над ухом чиновник.

Я вздрогнул и предложил ему чаю. Он от-

казался, но сел у стола, и мы понемножку разговорились. Чиновник оказался приезжим по казенной надобности и, не имея знакомых в городе, пошел развлечься в трактир.

- Эдакая пошлость в здешнем городе эта ресторация, - жаловался он мне.

- Чем же?

- Помилуйте! спрашиваю пуншу, - с французской водкой подают. Нет, у нас такой подлости никогда не сделают. Как можно с Торжком сравнить, а уж об Ржеве и говорить нечего. А здесь и город-то весь какой-то оглашенный: ничего достать нельзя. Сижу третьи сутки, лошадей не дают.

Разговорившись с чиновником, я узнал от него, что так как ему придется пробыть в городе еще сутки, то желательно было бы побывать в Ниловой пЩстыни, угоднику поклониться. Я рассудил, что и мне не мешало бы съездить туда, и мы условились на другой день отправиться вместе.

На другое утро, только что я успел проснуться, гляжу - входит мой вчерашний знакомый.

- Ну, так как же? едем?

- Едем-то едем, да только не советуют: озеро очень разыгралось; ветер силен. Я уж ходил на пристань, справлялся.

- Что же, не везут?

- Нет, отчего же? Только, говорят, опасно, можно утонуть; три целковых просят.

- Стало быть, за три целковых можно утонуть, а за два дешево, - не стоит. Это хорошо.

- Вот вы подите потолкуйте с ними.

Пошли мы толковать. Пришли на пристань; озеро действительно разыгралось: волны так и хлещут, так и заливают пристань, но лодочников мы не нашли. Спросили: где нам взять лодку?

- А вон там, в лавочке, спросите арендателя.

Пришли в лавочку.

- Здесь арендатель?

- Здесь. На что вам?

- К угоднику ехать хотим.

- Постойте, мы приказчика кликнем.

Кликнули приказчика.

- Здравствуйте!

- Здравствуйте!

- К угоднику лодку дайте нам.

Опять тот же разговор:

- Меньше трех рублей взять нельзя, потому очень опасно.

- Ну, а если мы утонем?

- Да уж мы возьмемся, так не утонем.

- А если мы трех рублей не дадим, так утонем?

- На что тонуть? Мы этого никому не желаем, чтобы утонуть. Авось, бог даст, живы будем.

- Ну, а как же такса-то? Ведь вы обязаны за два рубля везти.

- Это точно. Только время теперь такое. Не ровен час, долго ли до греха?

Спорили, спорили, наконец порешили на том, что возьмут с нас по таксе, но зато посадят еще двоих и оттуда, если будут попутчики, и чтобы гребцам полтинник на чай. Поехали сначала на веслах, всё держались берега, обогнули заводы, и во все время наш шкипер перекликался с каким-то мещанином, который бежал между тем по берегу и должен был сесть к нам в лодку тайком от хозяина. Наконец остановились мы в каком-то закоулке и посадили еще бабу; выгреблись под ве-

тер и поставили парус. Чем дальше выбирались мы на середину озера, тем волнение становилось сильнее. Баба, храбрившаяся было вначале, присела на дно, зажмурила глаза и ужасно сердилась на нас за то, что мы не боимся бури. Мы все сидели молча, закутавшись и надвинув шапки на лоб, потому что ветер действительно разошелся не на шутку. Шкипер прежде все пугал нас для того, вероятно, чтобы показать, что лишние деньги взяты не даром, но под конец перестал и, не спуская глаз с волны, строго покрикивал на гребцов, помогавших с одной стороны веслами. Мещанин отыскал на дне лодки какую-то дощечку и тоже усердно болтал ею в воде.

По небу неслись темные тучи, прорываясь время от времени, и осеннее солнце вдруг обдавало холодным блеском сероватые волны. Гребцы, щурясь и отворачиваясь от него, с мокрыми волосами, дружно налегали на весла, и лодка наша, покачиваясь и поскрипывая, быстро неслась по озеру. Наконец влево из-за синего бора показался остров, необыкновенно красиво выступивший из воды, с каменными берегами и лесом позади. Через

четверть часа долетел до нас заглушаемый ветром далекий благовест 7, а еще минут через двадцать мы уже входили в пристань и поспели еще к обедне.

Церковь в монастыре старинная, с темными стенами и тусклой живописью; тихое, необыкновенно растянутое пение и, странная вещь, у всех монахов, не исключая и самого отца архимандрита 8, стриженные усы.

После обедни я подошел к архимандриту и сказал, что приехал издалека и желал бы видеть монастырь, о котором много слышал, и проч.

Отец архимандрит вместо ответа подал мне крест и пригласил к себе пить чай. Спутникам моим отвели даровой номер в гостинице и принесли обед. Отца архимандрита я застал в зале сидящим на диване; на стульях же, по стенке, сидело еще несколько человек приезжих; я тоже сел. В дверях показалась монахиня, вся закутанная разными платками. Она молча поклонилась в пояс и остановилась у дверей.

- А, - сказал отец архимандрит, - ну, что? Собралась совсем?

Монахиня опять поклонилась.

- Ну, хорошо. Ступай с богом!

Монахиня получила благословение и, поклонившись еще раз, ушла. Подали чай. Высокий и плотный прислужник в сером сюртуке разносил чашки и сейчас же вслед за чаем подал завтрак, состоящий из разных водок и закусок. Мы в благоговейном молчании сидели у стены и как будто ждали чего-то. Наконец отец архимандрит встал и, благословив закуску, сказал: "Прошу покорно!" После завтрака он повел нас в другую комнату и показал нам какие-то планы предполагавшихся построек; причем объяснил нам, что стоила ему переделка келий и устройство набережной. Мы всему этому очень удивлялись и хвалили планы. В то же время слышен был где-то тоненький свист, похожий на свист кулика.

Это меня заинтересовало, и я решился спросить о причине этого свиста. Отец архимандрит рассказал нам, что некоторый добротный датель пожертвовал было монастырю маленький пароход, для того чтобы возить на нем богомольцев даром, но что город всту-

пился в это дело и запретил, на том будто бы основании, что оттого может произойти убыток городу. Тогда доброхотный датель пожелал узнать, сколько город от этого потеряет! Оказалось, что с лодок получается в год около 400 рублей.

- Вот вам четыреста рублей, - сказал доброхотный датель.

- Не хочу, - сказал город (то есть осташковская дума). - Деньги, пожалуй, взять можно, а пароход все-таки чтобы не смел ходить и богомольцев чтобы не возил.

- Почему ж так?

- А потому - озеро городское.

- Как так городское? Озеро божье. По воде ездить никому не запрещается.

- Мало что не запрещается? Архимандрит с братиею не замай катаются, а за богомольцев плати деньги.

- Какие же деньги? Ведь вам дают четыреста рублей? Чего ж вам еще?

- То доброхотный датель дает, на то его воля; а по закону за причал с каждого богомольца пять копеек подай.

- За что ж за причал? Ведь у нас пристань в

городе своя?

- Так что ж, что своя? Да ведь она в городе!

- Ну, вот и разговаривай тут с ними! - заключил отец архимандрит. - Прошу покорно хлеба-соли кушать!

Не успели мы позавтракать, как уже вновь явились перед нами: уха стерляжья, налимы маринованные, налимы отварные, налимы жареные, грибки и соленья всякого рода и отличное монастырское пиво.

Во время обеда один из богомольцев, до тех пор смиренно молчавший, вдруг заговорил. Что такое? Знакомый голос! Прислушиваюсь и узнаю моего соседа помещика, жившего рядом со мною на постоялом дворе в Осташкове. Но какая перемена! Как он ругался и кричал там на своих мужиков, и как униженно и подобострастно говорит он здесь! По всему было заметно, что на отца архимандрита он почему-то смотрел, как на какого-то начальника; только время от времени прорывалась у него дурная привычка после каждой фразы говорить - а?

- Ваше высокопреподобие, какая у вас отличная рыба! А? Отличное пиво! А? - что вы-

ходило очень смешно.

Мы так долго засиделись за обедом и от монастырского пива в голове у меня так загудело, что мне и не удалось осмотреть здешние достопримечательности. по свидетельству "Памятной книжки Тверской губ., издан. в 1861 году", в Ниловской пЩстыни 9 7 каменных церквей и 25 других каменных зданий, между которыми есть гостиный двор, два конных двора, три хлебных амбара, три бани, ремесленный корпус, квасоварня с солодовнею, рыбный садок и другие хозяйственные постройки; несколько десятков пуд серебра, драгоценных камней и множество золотых вещей. Здесь бывает питейная выставка пять раз в год. Кроме братии, живет в обители довольно значительное число трудников, наемных рабочих и вкладных людей. Под именем вкладных людей известны были крестьяне, присланные туда помещиками ради спасения своей (помещичьей) души на неопределенное число лет, и даже вольноотпущенные, с обязанностью прослужить условное время в пЩстыни.

В сумерки вернулись мы благополучно в

город и узнали, что за час до нашего приезда вытащили пятерых утопленников, возвращавшихся с базара мужиков. Вечером в тот же день попал я к одному купцу на именины. Об этом событии расскажу в следующем письме.

Примечания к письму пятому

1 Аплике - посеребренная или покрытая тонким серебряным листом металлическая вещь (здесь - подсвечники).

2 Межток - пролив. (Примеч. В.А. Слепцова).

3 Раскинул. Частица - частая льняная сеть. (Примеч. В.А. Слепцова.)

4 Сиверко - северный ветер.

5 Карамзин Николай Михайлович (1766-1826) - писатель-сентименталист, историк.

6 Хозяйский брат, он же и слуга. (Примеч. В.А. Слепцова.)

7 Благовест - праздничный звон в один колокол.

8 Архимандрит - настоятель монастыря.

9 ПЩстынь - уединенная обитель, одино-

кое жилье, келья отшельника, уклонившегося от сует; нештатный монастырь.

ПИСЬМО ШЕСТОЕ

Именины

Никто, вероятно, не сомневается в том, что знакомства, самые разнообразные, в самых широких размерах, служат одним из надежнейших способов изучения нравов. Никакие статистические данные, никакие внешние наблюдения и впечатления не дают такого ясного, осязательного понятия о жизни какой-нибудь местности, как личное сближение с так называемым живым материалом. Но, несмотря на все превосходство этого способа перед прочими, а может быть и потому, что я лично чувствую к нему наибольшую склонность, мне несколько раз приходилось убедиться собственным опытом, что это один из самых трудных и самых шатких способов. Личное знакомство с предметом изучения, как и всякий другой прием, в таком только случае дает вполне удовлетворительные результаты, когда наблюдатель относится к изу-

чаемому предмету совершенно свободно, ни на одну минуту не стесняясь своими личными симпатиями, и пока знакомство для наблюдателя остается только средством, а не целью. Но как скоро он позволил себе втянуться в интересы изучаемой им среды и принял в них хоть малейшее участие, так сейчас же знакомство теряет для него свое поучающее значение и получает совершенно бесплодный смысл. Наблюдатель из наблюдателя превращается в действующее лицо и как заинтересованный в деле уже лишается возможности видеть жизнь во всей ее полноте и неприкосновенности.

К подобным же результатам приходят и те легкомысленные наблюдатели, которые не могут воздержаться от желания разыгрывать роль наблюдателя. Такие люди никогда ничего узнать не могут, потому что они прежде всего заняты сами собою и выполнением своей роли, не говоря уже о том, что самый вид наблюдателя заставляет каждого скрытничать и притворяться.

Следовательно, каждый, смотрящий на дело изучения серьезно и желающий извлечь

из наблюдения существенную пользу, должен поставить себе за правило: выбрать себе по возможности самую ничтожную, самую невыгодную роль и скромно пребывать в ней, почти не показывая признаков жизни. Если я хочу застать чужую жизнь врасплох, то понятно, что я сам должен уничтожиться и притаить дыхание, чтобы не возмутить покоя в интересующем меня болоте. В некоторых случаях, разумеется, такое чисто объективное отношение к предмету изучения встречает большие затруднения со стороны самого предмета, а иногда становится и совсем невозможным, но городская, да и всякая русская жизнь вообще, сколько я мог заметить, до сих пор еще не слишком противится пылливому взору всякого мало-мальски искусного наблюдателя. Большинство у нас до сих пор еще так неспособно к объективному взгляду на жизнь, и в то же время до того поглощено своими домашними нуждами, что ему даже и в голову не приходит, чтобы кто-нибудь мог серьезно заниматься наблюдением и изучением общественной жизни просто для того только, чтобы наблюдать и изучать.

Подсматривать, подслушивать и после снаушничать, или, наконец, поднять на смех, это еще понятно; но бескорыстного, совершенно безучастного наблюдения большинство не понимает и даже в других допускает с трудом, считая подобное занятие совершенно пустым и праздным делом, а потому и не дает себе труда остерегаться и скрываться от наблюдения. Да к тому же и остеречься-то очень трудно.

Как тут остережешься, когда бог его знает, что нужно скрыть и что обнаружить. Если же иной раз изучаемый субъект и догадается, что его изучают, спохватится и начнет скрытничать, то большею частию и это ни к чему не ведет, потому что, даже струсив и съезжившись, он невольно обнаруживает такие свойства, скрыть которые уже решительно невозможно. И чем больше он скрытничает, чем хитрее старается обмануть вас, тем больше помогает вам. Так что во всяком случае уйти от наблюдения трудно. И притом надо заметить, что осторожных людей вообще мало, то есть действительно осторожных; большинство же везде составляют люди легкомыслен-

ные и до крайности беспечные. В известных случаях действительно общество впадает и в другую крайность; так например, иногда целый город вдруг ни с того ни с сего заражается страшною подозрительностию по поводу какого-нибудь приезжего или какого-нибудь слуха. Подозрительность в это время совершенно принимает вид эпидемии и свирепствует некоторое время дико, безобразно, поглощая очень часто и таких людей, которые в другое время вовсе не способны верить всякой сплетне. Заподозренному в подобных случаях лучше всего отмолчаться и переждать грозу.

Как легко появляется эпидемия подозрительности, так же легко она и проходит. Переждешь неделю, другую, и все пойдет по-старому. Но и для подозрительности, как и для всякой другой эпидемии, бывает известный период зрелости, когда появление ее становится возможным и признаки заболевания начинают носиться в воздухе.

Я приехал в Осташков как раз впору, прожил в нем ни много, ни мало, а именно столько, сколько нужно было для того, чтобы на-

смотреться, послушаться вдоволь, сойтись со всеми и ни с кем не сблизиться, и уехал. вследствие крайней невзыскательности моей относительно знакомств всякого рода число их с каждым днем возрастало. Этому возрастанию очень благоприятствовало еще и то обстоятельство, что самые подозрительные люди скоро поняли, что мне в сущности ничего не нужно, что я ничего не ищу, ни о чем очень не стараюсь. этого было вполне достаточно для начала и хватило на тот короткий период времени, который я пробыл в городе, а признаки заболевания подозрительностию обнаружиться еще не успели.

Только что успел я вернуться из поездки в Нилову пЩстынь, как узнаю, что заходил за мною мой знакомый, Иван Иваныч. В сумерки я пошел к нему узнать, зачем он заходил. Оказалось, что в тот день были именины одного рыбного промышленника, и знакомый хотел предложить мне отправиться вместе к нему на вечер. Я, разумеется, с удовольствием согласился, и мы пошли. Хозяин встретил нас в сенях со свечою и провел в кухню. Здесь мы застали хозяйку, хлопотавшую что-то над пи-

рогами, и мальчика, ковыржавшего свечку. В следующей комнате на комоде стояла водка, и два старика, тоже рыболовы, разговаривали в углу. В гостиной, посреди комнаты, учитель уездного училища, два чиновника и один старый купец играли в стуколку; несколько граждан стоя смотрели на игру. В зале виднелись сидящие по стенке дамы в желтых и зеленых платьях. Они наклонялись друг к другу и вели тихий разговор. Да и вообще было очень тихо; только играющие, пристально и серьезно следя за картами, восклицали иногда: "Стукну! Свежих!" - и проч. Хозяин, кланяясь и несколько конфузясь, пригласил нас к водке, а когда мы выпили, - попросил сесть на диван. Мы сели, а хозяин стоял возле нас, прислонившись к косяку спиною и заложив руки за спину. На нем был новый долгополый сюртук и красный платок на шее. Мы с Иваном Иванычем стали глядеть на гостей, отчего они, то есть не играющие, начали понемногу вздыхать, задумываться и подергивать плечами, а некоторые даже вышли из комнаты.

Мы так долго сидели. Наконец Иван Ива-

ныч спросил у хозяина: как его дела? Хозяин покраснел и сказал, что слава богу, помаленьку, и подумав немного, спросил:

- Да не угодно ли еще по рюмочке?

Мы отказались.

- А то выкушайте. Что ж такое?

- Нет, уж благодарим покорно.

- Ну, как угодно.

Далее разговор не продолжался. Иван Иванныч вынул табакерку и очень старательно начал нюхать табак; а я все рассматривал лежащий передо мной на столе бисерный поддонник и чувствовал, что язык у меня после балыка сделался совсем гладкий, точно суконный. Я время от времени начинал коситься в залу, на дам, и замечал, что и они тоже на нас косятся; но, встретясь глазами, мы сейчас же отворачивались, и я серьезно рассматривал поддонник, а через несколько минут опять принимался подсматривать и опять встречался с любопытными взорами дам. Это было весело.

Когда мы достаточно, по мнению хозяина, посидели, он предложил нам пройтись. Мы прошлись по зале, но дамы при нашем появ-

лении замолчали, причем многие из них даже стали отмахиваться от мух, хотя их вовсе и не было.

Мы поспешили уйти и, посмотрев на играющих, направились в ту комнату, где стояла водка. Там горела свеча на комоде, и граждане, увидя нас, встали, так что нам оставалось только одно: опять сесть на диван, что мы и сделали. Хозяин, прогулявшись за нами по всем комнатам, тоже прислонился к косяку и снова принялся тоскливо смотреть за гостями. Его, по-видимому, томила скука смертная, но варвары гости этого не замечали. Но вдруг лицо хозяина стало оживляться: он наморщил лоб, заморгал глазами и скрылся. Через несколько минут вошел мальчик, неся на подносе чай. Мы взяли по чашке. Иван Иванович в то же время нагнулся ко мне и сказал шепотом:

- Вы знаете этого господина? - он указал глазами на одного из игравших.

- Знаю. А что?

- Не советую быть знакомым.

- Почему же?

- Да так. Будьте осторожны. Конечно, мне

не следовало бы говорить о знакомом; но что ж делать, надо сознаться, что это не человек, а чудовище, изверг рода человеческого.

- Мм!

Я посмотрел на изверга рода человеческого с любопытством и подумал: "Отчего же это прежде я ничего не замечал чудовищного", да и теперь чудовище преспокойно записывало мелом и, помуслив большой палец, отбирало карты.

- Сделайте такое ваше одолжение! - вдруг сказал мне хозяин, стоя предо мной с рюмкой хереса и мармеладом.

Гости между тем уходили в ту комнату, где стояла водка, и возвращались с куском пирога.

Игра понемногу стала оживляться. Один старик, набирая в руки карты, говорил всякий раз:

- Ну-ка, дава-кась я посморкаю (т.е. посмотрю).

- Ах, черт тебя возьми совсем, старый хрен! - помирая со смеху, восклицал всякий раз после этого один чиновник.

Иван Иваныч заговорил с хозяином о его

сыне, том самом мальчике, который подавал нам чай. Хозяин очень обрадовался этому случаю и все просил, чтобы Иван Иваныч как можно больше порол его сына.

- Зачем же, - сказал Иван Иваныч, - лучше увещаниями действовать. Он и так послушается.

- Нет, уж сделайте божескую милость! Как чуть что, сейчас драть. Дерите сколько душе угодно. Что их баловать!

- Это что у тебя? А? - спросил вдруг хозяин у своего сына, вытаскивая у него из-под жилетки какую-то тесемку.

- Пошел, вели матери пришить. Ишь болван! Так это все делает мышионально, - и хозяин хлопнул сына по затылку, желая этим, вероятно, показать Ивану Иванычу свое усердие.

Надоело мне сидеть, и я стал опять бродить по комнатам. В это время вошел старый заштатный причетник¹.

- А, Иван Матвеич!² - весело закричал ему Иван Иваныч. - Садитесь сюда! Что я вам скажу.

Причетник недоверчиво поглядел на Ива-

на Иваныча.

- Что вы? Подойдите! Не бойтесь!

Причетник подошел и нагнулся. Иван Иваныч сказал ему что-то, на ухо, отчего тот очень рассердился, замахал руками и ушел в залу, ворча что-то себе под нос.

- Ну-ка, дава-кась я... - вдруг воскликнул было игравший в карты старик, но, заметив, что я стою сзади его, кашлянул и замолчал.

Наконец в зале поставили большой стол и подали ужин. Игравшие рассчитывались и шумели. Потом все пошли к водке. хозяин оживился и стал ежеминутно бегать в кухню. Хозяйка, красная и захлопотавшаяся до поту лица, выглядывала из двери и вполголоса кричала сыну, несшему блюдо:

- Смотри не пролей.

У комода один из гостей, тот самый, на которого указывал мне Иван Иваныч, взял меня за руку, отвел в угол и таинственно сказал:

- Вы будьте осторожны с тем господином, с которым вы пришли.

- Почему же?

- Да так уж. Поверьте.

Иван Иваныч между тем опять уж успел

рассердить Ивана Матвеича, так что он стал плевать и ушел от него в кухню.

Начался ужин. Дамы взяли тарелки и уселись в гостиной, а мы остались в зале, одни мужчины. Во время ужина, впрочем, не случилось ничего особенного; только подразнили немного Ивана Матвеича, напомнив ему о каком-то шесте. Хозяин все хлопотал, потчевал и давал сыну подзатыльники, чтобы он скорее ходил.

- И чудак этот у нас Иван Матвеич, - говорил мне смеясь Иван Иванович. - Что только с ним делают! Вы спросите его: как ему сажи в рукавицы насыпали, поглядите, как разозлится.

Но я не решился спрашивать его об этом, тем более что старик вдруг захмелел и начал ругаться.

- Что ж, еще рюмочку? - спросил меня хозяин.

- Нет-с, благодарю.

- Да вы так, мышионоально.

- Не могу.

- Ну, принуждать не смею.

- Давай я выпью. Принужу себя и выпью, -

покачиваясь и махая руками, говорил Иван Матвеич; потянулся к рюмке и разлил вино.

- Ха, ха, ха! - покатались гости.

После ужина сейчас же все стали расходиться, и я ушел.

У ворот постоянного двора встретил меня Нил Алексеич, пропадавший без вести несколько суток сряду и только что вернувшийся из продолжительного странствия по кабакам, а потому необыкновенно услужливый, но в то же время грустный и прикидывающийся казанскою сиротою. Он сейчас же объяснил, что дожидался меня и нарочно не ложился спать по этому случаю; побежал со свечою отпирать дверь, бросился снимать с меня пальто и вообще употреблять все зависящие от него средства, чтобы мне понравиться. Я очень хорошо понимал, что эта услужливость означает только, что у Нила Алексеича от пьянства болит голова, и следовательно, нужно опохмелиться; я и дал ему на шкалик. Так как было еще рано, то я и ска-

зал ему, чтобы он, опохмелившись, зашел ко мне на минуту. Взял было я книгу, начал читать; входит Нил Алексеич, уже веселый, и вытянулся у дверей.

- Пришел-с.

- Вот что: возьмите-ка вы мои сапоги; да еще я хотел спросить вас об одном деле.

- Слушаю-с.

- Видите ли: собираюсь я ехать на этой неделе, так нельзя ли мне заранее подыскать попутчика до Волочка?

- Это можно-с.

- Так устройте это, пожалуйста, да разбудите меня завтра пораньше.

- Слушаю-с.

Я замолчал. Нил Алексеич постоял-постоял и вдруг сказал:

- Ваше благородие!

- Что?

- Осмелюсь вам доложить, это пустое дело - попутчики.

- Как пустое дело?

- Да уж... Так как мы здесь, можно сказать, вот с этаких лет при этом деле, довольно хорошо понимаем, что к чему.

- Нет, уж вы пожалуйста...

- Нет, позвольте-с. Это как вам угодно, ну, только я так рассуждаю, что вам это нейдет, совсем нейдет, чтобы с попутчиками ехать. А вот как ежели сейчас приказать тройку-тарантас, ямщика подрядить до места; по крайней мере спокой. Чудесное дело-с. А между прочим, как угодно.

- Ну, да мы об этом после поговорим. Скажите-ка вы мне лучше вот что: где здесь у вас продаются осташи?З

- Осташи-с? В лавке-с.

- Да ведь у вас здесь их в каждом доме делают. Так нельзя ли на дому у мастера купить? Ведь это будет дешевле.

- Это справедливо. На дому совершенно дешевле. Ну, только не продадут-с. А вам много ли требуется?

- Одну пару.

- Не продадут-с. Извольте говорить, осташи. Осташи вам нейдут-с. Как вам угодно. А вот у нас такие мастера есть, особенные, которые вытяжные сапоги могут сделать. На городничего и на прочих господ тоже потрафляют. Но осташи, конечно, только теперь, как я

понимаю, совсем, можно сказать, не к лицу.

- Нет, это я не для себя. А почему же вы говорите, что на дому не продадут? Кто же может мне запретить, если я сам купил товар, сам сшил?

- Это невозможно-с. Хозяин запретит.

- Какой хозяин?

- Как какой? Хозяин, то есть вот хоть бы я, к примеру, завел мастерство, ну я шить могу и на дому, а товар у меня хозяйский и должен я представить работу хозяину. Ваше благородие! Осмелюсь вас беспокоить, - одолжите покурить!

- Возьмите. Так стало быть, ваши граждане из хозяйского товара шьют?

- Так точно-с. Из хозяйского.

- Кто же эти хозяева?

- А тоже граждане-с, которые купцы, капитал у себя имеют и торгуют.

- А много ли таких?

- Нет, не много-с. Человек пять настоящих хозяев, а то все мелочь, все больше из-за хлеба дома сапожишки ковыряют.

- А почему же эти мастера сами не торгуют?

- Где же? Помилуйте! Бедность. И опять же нет такого мастера, который чтобы хозяину не был должен. У нас уж такое заведение. Еще банковские должники вот тоже. Кто ему не должен? Как в яму, в этот банк так и валятся. А все лучше нет. Который если задолжал, пришел срок, - не могу заплатить, ну льготу дают; льгота прошла - шабаш: отдают тебя какому-нибудь хозяину, работай на него! Ну, известно дело, хозяину век не заработаешь. Ты зарабатываешь, а он приписывает, ты заработал, а он приписал. Так и пойдет до скончания века. И дети все будут на хозяина работать.

Нил Алексеич в три приема вытянул всю папиросу, сразу выпустил целую тучу дыма, поперхнулся и сказал решительным голосом:

- Ваше благородие, позвольте вам сказать!

- Говорите.

Он несколько минут соображал что-то, потом сделал шаг вперед, спрятал руки назад и опять сказал:

- Ваше благородие! Я понимаю-с, очень даже понимаю, что вам требуется.

- Что же вы понимаете?

- Я вам вот доложу-с. Все-с! вы меня извольте спросить, и я вам могу, даже то есть до нитки рассказать.

Нил Алексеич подошел ближе и начал шептать:

- Вот как теперь господин Савин и прочие, ежели что рассказать... Что ж? Я человек маленький. Меня погубить недолго. Только это им будет стыдно. Как я вам докладываю, я всей душой перед вами. И как я надеюсь на вас. Ну, а они совсем напротив, и даже, можно сказать, стараются, как бы человеку сделать то есть вред, а не то что.

Я начал теряться в догадках: хочет ли он мне сообщить что-нибудь очень любопытное или так, бессознательно с похмелья несет вздор.

- Какой же вред? - спросил я наудачу.

- А уж они найдут такую вину.

Им это ничего не значит - человека погубить. Что ж? Я молчу. Я не могу против своего начальства говорить ничего. Я молчу-с.

Я увидел, что Нил Алексеич действительно молчит и что толку от него, должно быть, не добьешься. Я взял книгу.

- Так завтра в котором часу прикажете разбудить?

- Часов в восемь.

- Слушаю-с. А что я хочу еще попросить, ваше благородие.

- Что? Еще на шкалик?

- Никак нет-с. На табачок.

Дня через два после описанного вечера проснулся я утром и даже как-то обрадовался, услышав за стеною знакомый голос помещика, которого я видел в Ниловой пещерности. В продолжение этих двух дней я почти не сидел дома, возвращался поздно, а потому и не знал, что у нас делается. В это время уже успело произойти так называемое соглашение⁴, и, судя по тому, что долетало до меня из соседней комнаты, можно было предположить, что соглашение совершилось к общему удовольствию; по крайней мере помещик уже не кричал и не ругался, а так просто ходил по комнате и кротко разговаривал с посредником. Время от времени слышался звон затыкаемого графина и веселое побрякивание, обыкновенно следующее за выпивкою. В передней скрипели сапоги, и в дверную щель

влетал в мою комнату запах дегтя и овчины, по которому всегда можно еще издали узнать о присутствии мужиков.

Поговорив с посредником, помещик вышел в переднюю и заговаривал с крестьянами следующим образом:

- Ну, что? А? Ну, вот и кончили благодаря бога. Довольны? А? А? Довольны?

- Благодарим покорно. Что ж? - отвечали крестьяне.

- Ну, да. То-то. А? Барин вам зла не пожелает. Не хотели, а теперь сами благодарите. А? Благодарите ведь? А?

- Так точно, Александра Васильич, благодарим покорно.

- Мы за вас, Александра Васильич, должны вечно бога молить, - вмешивался какой-то назойливый, тоненький голосишко.

- Иван Петрович,5 - обращаясь к посреднику, говорил помещик, - вот я говорю, не хотели, а теперь сами благодарны. А?

- Да, да, - из другой комнаты отвечал посредник.

- Своей пользы не понимают, глупы, - продолжал помещик.

- Ведь вы глупы? А?

- Это справедливо, Александра Васильич, - со вздохом отвечал тот же тоненький мужичий голосишко.

- Ну да. Вот вас на волю отпустили. Ну да. Вы теперь будете вольные. А? вот я зла не помню. Ведь я вас люблю, даром что вы мошенники, - говорил помещик, рыгая и, видимо, смягчаясь все более и более. - Вот я какой! А? А почему я вас люблю? Потому что вы моей жены - покойницы. Да, - заключил он и пошел в другую комнату.

После непродолжительного молчания мужики пошептались, и один из них кашлянул и сказал, подойдя к двери:

- Мужикам, Александра Васильич, как прикажете, домой? Или как ежели насчет чего приказывать изволите?

- Каким мужикам?

- А то есть нам-то-с?

- А ты кто ж такой?

- Я-с? Гм, мужик-с.

- Так что ж ты? Чучело!

Барин смягчился совсем и даже стал шутить.

- Нет, постойте. Я вам сейчас велю водки дать. Эй! Кто там? Подать водки моим мужикам по рюмке. Вот видите, - продолжал он из другой комнаты, - я зла не помню. Бог с вами. Я вам все прощаю. Я за вас хлопочу, а вы что? Вы моим лошадям овса пожалели. Бесстыжие ваши глаза! А? Не стыдно? А? Мошенники! Мошенники! А? И не стыдно? А? Овса пожалели!

Мужики молчали.

- Антон! И не стыдно тебе? Богатый мужик. Меры овса пожалел. А?

- Виноват, Александра Васильич, - растроганным голосом отвечал мужик.

- А ведь я вас люблю. Ведь я вам отец. А? Не чувствуете? Ну, черт с вами! Пейте, подлецы, за мое здоровье, - заключил помещик и ушел в другую комнату.

Примечания к письму шестому

1 Причетник - низший церковнослужитель (дьячок, пономарь, звонарь).

2 Вымышленное имя. (Примеч. В.А. Слепцова.)

3 Осташи - крестьянские сапоги здешней работы. (Примеч. В.А. Слепцова.)

4...так называемое соглашение... - имеется в виду земельный договор между помещиком и крестьянами, заключение которого после реформы 1861 года входило в обязанности посредников.

5 Вымышленное имя. (Примеч. В.А. Слепцова.)

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

Осташковская литература

Попалась мне рукописная книжка "Летопись города Осташкова", писанная каким-то священником. Много было хлопот и беготни, чтобы отыскать ее. Ходит она в городе по рукам уж очень давно, и все ее знают чуть не наизусть, но добыть ее, если кому понадобится, трудно. Лежит она у кого-нибудь, а у кого, бог знает. Иногда и тот, у кого она находится в данную минуту, не знает наверное: у него она или нет. Дети куда-нибудь затащат, ищи. Точно так же странствуют и другие рукописные тетради. Одну из них мне тоже удалось найти совершенно, впрочем, случайно. Тетрадь большого формата в лист, в переплете; на первой странице написано: Выписки из журналов, разных писателей, сочинений, также К.Н. Гречникова и П.К. Стременаева. Прозы, стихи, басни, романсы и гимны. С 1835 г., а мною выписаны с 1851 года. Вин.

Тетрадь эта, несмотря на крайнюю бедность заключенных в ней мыслей и вообще скудость материала, а может быть, именно и поэтому, показалась мне несколько занимательною. Этот жалкий сборник состоит главным образом из произведений туземной музыки, вдохновлявшей двух друзей, гг. Гречникова и Стременаева¹. Один из них, Гречников, как видно из тетради, безвременно похищен раннею кончиною; и на первой же странице читатель находит грустную элегию г. Стременаева "Предсмертие" - стихотворение, по-видимому, написанное под влиянием смерти друга и наставника, как называет его автор. Да и вообще произведения этого поэта (г. Стременаева) отличаются грустным тоном и большею частию написаны по случаю чего-нибудь.

Потом следует восторженный дифирамб: "Пароход на Селигере", написанный по случаю появления в Осташкове буксирного парохода братьев Савиных, Осташа.

Этот пароход в свое кратковременное служение фабрике Савиных наделал в городе много шуму и служил вначале немалым по-

водом к самохвальству всего города. Но, к несчастью, скоро кончил он свое поприще скандалом, по случаю которого не замедлил появиться ядовитейший, хотя и безграмотный, пасквиль. Как видно из рассказов и из пасквиля, дело происходило таким образом: пароход был предложен одному прибывшему из губернии значительному лицу для проезда в Нилову пЩстынь. Отправление гостя сопровождалось, разумеется, подобающими почестями и торжественностью.хлопот было много. Больше всего старались о том, чтобы торжество вышло как можно торжественнее; но на всякий час не убережешься. И на этот раз, как часто в подобных случаях бывает, самое ничтожное, самое пустое, непредвиденное обстоятельство вдруг совершенно разрушает всю торжественность обстановки и все хитро и задолго обдуманное приготовления. Гость взошел на пароход и отчалил от берега. Ну, слава богу! Но увы! Ничто не прочно под луною. Однако я буду лучше продолжать словами туземного юмориста.

Осташ-пароход

Насмешил весь народ...

Лишь от пристани пустился,
За угол бани зацепился,
Людей в бане испужал.
Стена стала валиться, -
Люди бросили и мыться;
Испужались, закричали,
Вон из бани побежали.
Не успели смыть и мыло
(Это, верно, так и было).
Бежали все нагие...

Слушатели дорогие!.. И т.д.

Да. От великого до смешного один только шаг. Говорят, распорядители торжества очень сердились на эту проклятую баню. И подвернула же ее нелегкая, да притом, как нарочно, именно в такое время, когда уже все кончилось так хорошо, все приготовления удались как нельзя лучше, и тут... Черт знает, что такое!.. После неудавшегося торжества пароход, разыгравший такую скандальную штуку, куда-то исчез, вероятно, испугавшись насмешек.

Странная судьба этого парохода! Давно ли еще г. Стременаев приветствовал его следующими восторженными строфами:

Селигер! Где дни былые?
На раздолье своих вод
Ты не видишь ли впервые
Сына мысли - пароход?!.
Посмотри ж, вон он дымится,
Без весёл и парусов,
Но, послушный пару, мчится
Прямо в грудь твоих валов.
По бокам горами пена,
Зыбь сверкает назади,
Будто вырвавшись из плена,
Он летит с огнем в груди...
И проч.

Давно ли толпами ходили городские и сельские жители на пристань любоваться сыном мысли и хвастаться приезжим!

И вот, вследствие какого-нибудь ничтожного случая, те же осташи вспомнить без смеха не могут о своем пароходе. Ужасно непостоянный народ. Смешливы очень. Это я заметил.

После дифирамба о пароходе следует всякая всячина: отрывок из какой-то повести (сентиментальная сцена объяснения двух любовников); потом "романс" г-жи Языковой:

Лиры томной звук плачевной,
Выражай печаль мою!

Сладчайшее стихотворение Карамзина к Лизе^{2*}, и опять "На смерть Гречникова", г. Стременаева; из этой элегии, как называет ее сам автор, видно, что с кончиною г. Гречникова

Еще не стало дарованья,
Еще безвременно угас,
Чей ум и добрые деянья
Пребудут памятны для нас...
И проч.

Из этой элегии ясно, что между двумя друзьями-поэтами существовала самая тесная и трогательная связь. Г. Стременаев, стоя на могиле умершего друга, кладет на нее

Цветок, который был посеян
Природою в моей
(Стременаева) душе,
А им, почившим, возлелеян,
Воспитан дружества в тиши.
Цветок этот - цветок поэзии смиренной.

Что же касается музыки г. Гречникова, то она вовсе не так смиренна и не ограничивается,

подобно музе г. Стременаева, дифирамбами и элегиями по случаю чьей-нибудь смерти. Сколько можно понять из прозаических и стихотворных произведений покойного, муза г. Гречникова не только откликалась на все мало-мальски значительные случаи, которыми так бедна жизнь уединенного уездного города, но и рвалась даже куда-то дальше, за пределы видимого мира. Чем больше вчитывался я в затасканную тетрадь, в дождливый вечер лежа на диване постоянного двора в Осташкове, тем яснее и рельефнее рисовалась передо мною эта глухая, бедная жизнь с ее жалкими мишурными украшениями и не менее жалким самодовольством и этот г. Гречников с своею бедною поэзиею и неясными для него самого позывами куда-то туда. Впрочем, преобладающим мотивом этих позывов и у него все-таки половые стремления, и дальше Киприды³ он не идет. Хотя сам он говорит о себе в одном месте:

"Пошли, господи, в душу мою покаяние, смирение и возможность испить мою горькую чашу, которую я вполне заслужил своим развратом и всевозможными пороками"⁴. Та-

кое признание могло бы привести читателя в соблазн относительно развратного поведения автора. Можно бы подумать, что автор сильно кутил, предавался всякого рода излишества, наказан за это и, приготавливаясь испытать горькую чашу, чувствует угрызения совести. Но на деле вышло иначе.

"Я впал в руцъ бога живаго! Страшно!!!" - говорит далее автор. Это случилось 6 апреля 1847 года. Из этого видно отчасти, что г. Гречников был немножко романтик и, вероятно, любил преувеличивать свои страдания и смотреть на жизнь несколько мрачно. Окружающая среда его не удовлетворяла; это заметно по многим прозаическим размышлениям его, помещенным в той же тетради. Так, например, еще в 1844 году, 28 октября, г. Гречников писал против преобладания материальной стороны нашей жизни.

"Признаюсь, иногда делается грустно при взгляде на странную нашу жизнь. Хотя материальность занятий наших непременно движется и живет умственностью; но самый ум наш обратился в какой-то механизм, в котором цифры прыгают будто условно, и мы щу-

паем их и понимаем просто незамечаемым нами животным инстинктом!.. Увы! Есть бухгалтеры, но только не мы с вами, которые наслаждаются и сердцем и мыслию. А мы-то что за пешки на пестрой шахматной доске мира? Грустно, а без цифр прожить нельзя".

Но все это было еще в 1844 году. Поэт был молод, полон стремлений, хотя и неясных, но все-таки стремлений. Понятным образом развившееся недовольство окружающим, преобладание материальности в жизни возмущали его, и потому являлось желание "забыться" и искать спасения в "этом блаженном забвении".

Но потребность жить действительную жизнью и пользоваться действительным счастьем все-таки не унималась, несмотря на все желание обмануть самого себя. Эта странная, уродливая борьба, однако, была поэту не по силам, и потому являлось стремление как-нибудь кончить, помириться с жизнью и устроить с нею маленькую сделку вроде следующей:

"Но хотя бы и не всем нам, землежителям, не всем, да и то изредка, залетать в мир

неземной, в мир таинственный, в благоговеи-
ном восторге целовать покрывало Изиды5,
верить в лучшее, ожидающее нас в необъят-
ной, непостижимой земным умом вечности..." - и т.д.

Так писал г. Гречников г. Головану в лучшие годы своей жизни, но в 1845 году читатель уже застаёт ошашковского поэта по уши в уездной тине и уже занятым совершенно другими предметами. Поэт терзается ревностью и непонятою страстию (к актрисе, как видно из одного намека).

Моя любовь погибла безвозвратно! восклицает поэт.

На вопль души отзвуков сладких нет!

Как поняла она меня превратно!

Как понял страсть мою превратно свет!..

В октябре того же 1845 года поэт уже впадает в мистицизм. Склонность к романтизму, заметная в нем и прежде, под влиянием страсти увлекает его в бездну кабалистикиб.

"Роковые числа приближаются... - пишет г. Гречников в своем дневнике, - предчувствую, что в это время нынешнего месяца совершится многое. Я потеряю ее!.."

"Так и есть. 21 числа она... роковое число не изменило..."

В святом невежестве бездушно расцветая
И ада не страшась, не ожидая рая...

К. Гречников. но благородство чувств так
свойственно высокой душе поэта.

"Пусть будет она счастлива, а мы..."

Мы будем справедливы..." - через десять
дней после рокового числа уже писал поэт.

Вскоре после описанной катастрофы г.
Гречников женился и по этому случаю произ-
вел сладострастный перифразис в стихах, под
заглавием "Милая, а потом жена". Весь инте-
рес означенного стихотворения вертится на
трех словах: "Шарф, улыбка и корсет".

Перечитав сделанные мною выписки из
тетради, я к удивлению заметил, что это
письмо принимает вид какой-то повести из
уездных нравов, где героями являются тем-
ные для меня самого личности двух друзей
поэтов. Но это случилось как-то само собою,
по мере того как я читал и выписывал. По-
вестовательный характер получился просто
потому, что тетрадь эта заключает в себе и
дневник покойного поэта; а стихотворения,

рассыпанные в разных местах, почти все с означением года и числа. Это обстоятельство дает возможность проследить их в хронологической связи и найти отношение их к некоторым событиям в жизни поэта. Так, например, видно, что в то время, когда достойный друг и выученик г. Гречникова упражнял свой природный дар в "скромной поэзии" и писал послания "поэту" и "к своему портрету", сам г. Гречников занимался сочинением темы для повести и философскими соображениями вроде следующих:

"Мир не на час создан. И я вам скажу: мир вечен"

8 марта 1847 года г. Гречников кончил свой журнал.

Конец журнала Гречникова

"В царство небесное не может вникти ничто же скверно (Апок. XXI, 27)".

"Страшно впасти в руць бога живаго (Евр. X, 30)".

"Вот какими ужасными словами пришлось мне заключить журнал мой! И когда же? В период полного развития внутренних сил, когда бы мне должно наслаждаться самосознанием

и проч.

"Все́му причино́ю мой разврат..." - сознается автор и все более и более проникается драматизмом своей участи. Какие-то терния все мерещатся расстроенному воображению бедного поэта.

"Я вполне заслужил мои терния!.. Даже к богу страшно обратиться мне!!!"

Далее, перебирая всю бесплодность попусту растроченной жизни, поэт казнит самого себя и даже ссылается на свои прежние мысли.

"В одном месте я сам сказал: сила, сила нужна, чтоб сломать до основания великолепный храм своих мечтаний, а из новых материалов воздвигнуть простой, но несокрушимый храм действительности". Рассматривая свои произведения, г. Гречников приходит к печальному заключению, что он "до сих пор еще не писал ни одной дельной статьи", а если что и было хорошего в них, то это все чужое.

Но чужого он не хочет, "а своих не только нет запасов, но и крох от всего того блага, которым пользовался по милости других!"

Мрачно кончил свое поэтическое поприще осташковский поэт, но благодарные сограждане и теперь еще услаждают свою скуку чтением его произведений. А ведь странное это обстоятельство: в городе есть публичная библиотека, в которой лежит 4238 томов и, кроме того, получается 22 экземпляра разных периодических изданий, а между тем при всеобщей грамотности большинство или вовсе ничего не читает, или пробавляется песенниками и рукописными тетрадями вроде той, о которой сейчас было говорено.

Перелистывая "Летопись города Осташкова", о которой я упомянул выше, я должен признаться, что и эта рукопись не слишком изобилует материалами для характеристики города. Летопись писана старинным поповским почерком очень чисто и разделена на рубрики, вроде следующих: "Местоположение города. - Воздух. - Пространство озера Селигера" и проч. Исторические сведения о происхождении города и его развитии почерпнуты большею частью из Татищева, Карамзина, Пантеона российских государей, Зерцала рос-

сийских государей⁷ и даже из житий святых. Кроме того, рукопись включает в себе кое-какие изустные предания о происхождении города и некоторых частей его и, наконец, личные соображения самого автора летописи.

Я считаю нужным заметить здесь кстати, что, как я упоминал уже в одном из предыдущих писем, в городе вообще между достаточными гражданами сильно развита страсть к древностям; разного рода исторические данные о происхождении города служат одним из наиболее употребительных предлогов для спора или разговора с приезжими, которых хоть сколько-нибудь интересуется история города. К чести оставшей нужно сказать, что все, касающееся этой истории, всем более или менее известно, и разговоры в этом роде возбуждают в городе какой-то патриотический, хотя довольно узкий, интерес. А потому "Летопись" эта не более как сборник разных отрывочных сведений, бывших давно в обращении между здешними археологами. Священник, составлявший ее, поступил, как следует всякому добросовестному летописцу, то есть просто собрал и систематизировал все, что,

по его мнению, хоть сколько-нибудь относилось к истории цивилизации Осташкова. Спорные пункты (как, например, о названии города) он так и оставил спорными, поместив в своем труде догадки и предположения и *pro et contra*. Это последнее обстоятельство, то есть примерное беспристрастие летописца, вызвало, разумеется, неудовольствие двух спорящих сторон, так что и те и другие равно недовольны. Но это-то, мне кажется, и служит уже некоторым ручательством добросовестности автора и придает его труду тот бесстрастный характер, который необходим для простого сборника материалов.

Из "Летописи" видно, что о первоначальном заселении полуострова, на котором стоит теперь город, никаких положительных сведений нет. В первый раз упоминается о Кличне (острове близ Осташкова) в духовной князя Бориса Васильевича, брата великого князя Иоанна Васильевича, то есть около 1480 года. Осташков, под именем Столбова, принадлежал к Кличенской волости, по мнению Татищева; другие же (акты археографической экспедиции) утверждают, что осташковские сло-

боды с 1587 года управлялись волостелями и тиунами⁹ под ведением ржевского наместника волоцкого и ржевского князя Федора Борисовича. О названии города существует предание, характеристичное по простоте и наивности. В летописи оно записано так:

"Устное доселе сохраняемое (предание) то, что здесь сперва поселился якобы некто Осташка (верно Евстафий, которое имя древле и на словах и на письме изображалось так: Иван - Ивашко, Евстафий - Осташка), и как Осташка сей стал жить хорошо, то стали к нему и другие приходить сожителствовать, и место сие по имени первенца - жителя Осташки - назвалось Осташковым. С сим и историческое предание как бы согласно".

Из истории Татищева видно, что князь Владимир Андреевич пожаловал Столбов воеводе своему, какому-то Евстафию, который и переименовал полуостров в Осташков. Летописец приводит еще разные мнения, но как бы то ни было, Осташков тем не менее был сделан городом, а в 1651 году, по указу царя Алексея Михайловича, построена в нем деревянная крепость. Впрочем, существует осно-

вание предположить, что деревянный город, то есть крепость с земляным валом, пушкарскими дворами, погребом с зелейною и свинцовою казною и съезжею избою существовала гораздо раньше и даже потерпела от литовского поражения. Потом городская стена несколько раз горела, возобновлялась по указам царей и великих князей окрестными крестьянами, а из грамот Михаила Федоровича и Алексея Михайловича видно, "чтобы непременно быть таможене в Осташкове и приезжие торговые люди товары свои привозили бы к таможенной избе (приказу) и являли таможенникам"10.

"В 1753 году последовал высочайший именной указ уже повсеместно дозволить монастырским в слободах крестьянам записываться в купечество. На основании одного высочайшего указа в Осташкове немедленно записались 290 душ из крестьян в купечество и в то же время испросили учредить правление свое - ратушу. Итак, еще новое разделение для Осташкова"! - восклицает летописец и тут же утешает себя тем, что "...это, можно сказать, заря, предвещающая скорую свободу, ра-

венство и совокупность всех в один уже состав и правление, что всегда к лучшему: потому что, как всякое разделение, в особенности по сердцу (т.е. по несогласию происшедшее) изводит несогласие, зависть и нестроение; так и последовавшее разделение на купцов и крестьян сделалось было следствием тому, что крестьяне стали притеснять купцов в том, что живут и владеют их землею, выжидали вон и не допускали до рыбной ловли: купцы не давали крестьянам производить никакого торгу, и затеялись между жителями хлопотные дела".

К сожалению, летописец не сообщает ничего, что могло бы хоть сколько-нибудь осветить путь, по которому шла городская жизнь Осташкова и как она слагалась. Каковы были условия, благодаря которым город вдруг ни с того, ни с другого выдвинулся вперед. Обращая взоры свои к прошлому, автор летописи видит только, что еще в недавнее время "строение домов в городе было малою частию каменное и то старинной архитектуры и расположения; а все почти деревянное и в великом стеснении. Улицы были весьма малые и

узкие, дома стояли без порядка: где каменный, где деревянный, где большой, где маленькой. Украшением они никаким не блистали, даже внутренне было самое простое. Самые богатые люди жили в голых стенах; сени огромные и двери узкие. Лучшее и отличное украшение в домах составляли святые иконы, обложенные серебром, а у других и позлащенные. Самые свойства, обычаи и одежда людей были тогда простые".

Простота нравов и вообще несложность и законченность общественной жизни в период, предшествующий нашему, служит, как известно, и до сих пор большим местом для всех людей тогдашнего времени. Всех наших стариков сбивает с толку не существующая нынче простота. Точно то же случилось и с ошашковским летописцем. Он мог оставаться беспристрастным повествователем истории своего города до тех пор, пока дело шло о далекой старине и о предметах уже давно умерших. Но к нравам, обычаям, живому преданию и вообще к жизненному началу того общества, в котором пришлось ему жить, оставаться равнодушным он не мог, и потому, пе-

реходя к характеристике своих предков, он невольно увлекается и приписывает им такие качества, какие, по его мнению, должны бы украшать людей того времени. Так, например, под рубрикою: "Свойства людей" - говорится, что свойства эти были следующие: "Набожность, простодушие, деятельность, воздержание, бережливость и нероскошность почитались у них фундаментом всего".

Можно предположить, что автор "Летописи" в качестве священнослужителя воспользовался случаем, чтобы по поводу древних обычаев сделать своим читателям приличное наставление, и, изображая качества предков, по привычке поместил в эту рубрику тонкую мораль для назидания потомства. Далее, рисуя старинные нравы, он, очевидно, поддается также влечению своих личных склонностей к простоте и никак не может освободиться от привычки поучать.

Это видно из следующего: "Давали друг другу и угощения, пировали, веселились, - и странное обыкновение: за столом иногда сидели от полдня до глубокой ночи, провожая время то в пении, то в разговорах, впрочем не

неблагопристойных. Как знатоки церковного и нотного пения, пели за столом канты и церковные стихи; и на балах сих никогда не гремел у них чайный прибор и нисколько не знакомы были с иностранными винами. Не было кухнь и поваров, а все было: пища и питье простое свое и в чрезвычайном довольстве. Ставили на стол сначала пирог, иначе косик, и такой величины, что малому ребенку в сажень. В таком же количестве подавали в мясоед мясную пищу, а в пост рыбу".

Этим почти совершенно исчерпывается весь запас заключающихся в "Летописи" материалов.

**This file was created
with BookDesigner program
bookdesigner@the-ebook.org
23.06.2008**